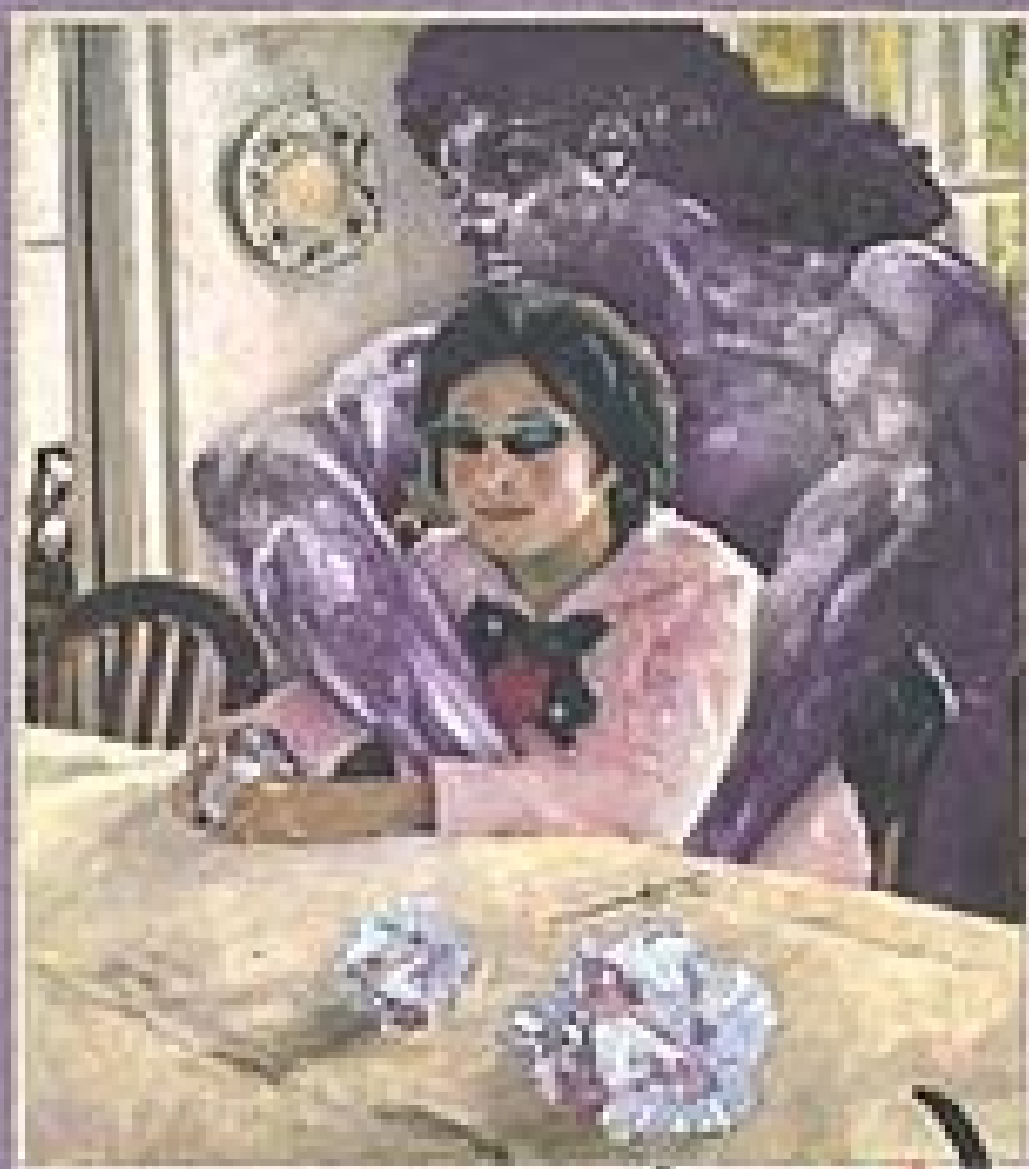


ВИКТОР ПЕЛЕВИН



КХК (W)

Аннотации на книгу нет. Так пожелал автор.

Диалектика Переходного Периода Из Ниоткуда В Никуда

ЭЛЕГИЯ 2

*Вот так придумывал телегу я
О том, как пишется элегия.*

Мы скоро встретимся едва ль.
За болью боль,
За далью даль,
За дыркой catcher in the rye,
За раем тоже рай.

За полднем вечер голубой,
За боем буй,
За геем гой.
Проснись и пой, и бог с тобой
Задрыгает ногой.

Товарищ, тырь. Товарищ, верь.
За дурью дурь,
За дверью дверь.
Здесь и сейчас пройдет за час,
Потом опять теперь.

Семь бед – один переворот.
За кедом кед,
За годом год,
И только глупый не поймет,
Что все наоборот.

Милиционер, миллионер,
За торой бор,
За хором хер.
Премного разных трав и вер.
Бутылка, например.

Катюшин муж объелся груш.
За горем Гор,
За Бушем Буш.
Гомер, твой список мертвых душ
На середине уж.

За приговором приговор,
За морем мур,
За муром вор,
За каламбуром договор.
Гламур, кумар, атог.

Мы испекаем каравай.
За киром кар,
За воем вай.
Лжедмитрий был Первомамай,
И я люблю свой край.

Вокруг качается ковыль.
За далью даль,
За былью быль,
И небольшой автомобиль
Вздымает в поле пыль.

Довольно быстрая езда,
Закат,
Вечерняя звезда,
И незнакомые места.
Все это неспроста.

Зигмунду Фрейду и Феликсу Дзержинскому

*Окнов: Нет, пустите!... Пустите!
Пусти... Вот, что я хотел сделать!
Стрючков и Мотыльков: Какой ужас!
Окнов: Ха-ха-ха!
Мотыльков: А где же Козлов?
Стрючков: Он уполз в кусты.*

Даниил Хармс

I

Идея заключить с семеркой пакт созрела у Степы Михайлова тогда, когда он начинал понемногу читать и задумываться о различиях между полами. Первые формы этого альянса были примитивными. Степа рисовал семерки разного вида на разные случаи жизни. Например, большая и пустотелая, во всю страницу, защищала от тех ребят, которые были старше и сильнее. Четыре заостренные семерки, расположенные по углам листа, должны были остановить буйных соседей по палате, которые имели привычку подкрадываться во время тихого часа, чтобы ударить подушкой по голове или положить прямо перед носом какую-нибудь гадость. Однако несколько досадных происшествий, от которых семерки должны были защитить, показали, что этот метод не подходит.

Степа решил, что семерка в единственном числе обладает недостаточной силой, и принялся покрывать крошечными синими уголками страницу за страницей, чувствуя себя завоевателем, набирающим армию для покорения мира. Но армия, как быстро выяснилось, не желала сражаться. Синяки, полученные Степой в летнем лагере после того, как семерками было исписано ровно семь тетрадей, показали это с полной убедительностью.

Бродя после уроков по тихим подмосковным рощам и полным соковищ свалкам, Степа размышлял об этом, пока не понял, в чем дело. Почему-то он с самого начала решил, что семерка в курсе всех его планов. Казалось само собой разумеющимся, что она узнает о его мыслях в тот момент, когда они появляются у него в голове. А между тем, сколько было в мире таких как он! Степа догадался, что ему следует каким-то образом обратить на себя внимание семерки, сделать так, чтобы она узнала о союзе, который он хочет заключить, и выделила его из толпы.

На уроках в школе рассказывали, что в древние времена люди, которые хотели воззвать к богам, приносили им жертвы. Семерка, возможно, не была таким же богом, как Зевс или Аполлон, но явно обитала в надчеловеческом измерении. Поэтому забытая технология могла сработать.

Степа знал, что древним богам приносили в жертву быков, сжигая их на костре. Несколько недель он всерьез обдумывал ритуальный поджог одного из коровников в совхозе, который располагался неподалеку от их дачи. Были заготовлены бутылка с бензином и длинные полоски резины, которые предполагалось использовать в качестве бикфордова шнура. В последний момент Степа передумал. Все-таки это было слишком масштабным проектом.

Но бензин не пропал. Степа стянул из дома семь банок говяжьей тушенки – это были военного вида жестяные цилиндры с похожей на фотографию со старой могилы бычьей мордой в овале. Такое количество продукта потребовало большого костра, и он обжег руку, но в целом

ритуал, который он провел в лесу неподалеку от дома, прошел гладко.

Вонь горелого мяса напомнила ему о чем-то таинственном и давно забытом (даже пришло в голову странное словосочетание – «гиена огненная»). Это переживание было слишком мимолетным для анализа – так, галлюцинация памяти, тень мысли о чем-то таком, чего с ним совершенно точно никогда не происходило. Тем не менее, именно это странное полувоспоминание открыло ему глаза на его ошибку.

В чем был смысл жертвоприношения? Небу предлагалось то, чем оно наделяло, – жизнь, душа. А сероватая говядина из стратегических запасов СССР была просто упаковкой, оставшейся от давно развеянной жизненной силы – точно так же, как жестяные банки были упаковкой от сгоревшего мяса. Принести мертвую материю в жертву духу было все равно, что подарить на день рождения пустую коробку от конфет. Доски старого забора, из которых он разложил костер, и то подходили лучше, потому что на них кое-где росла живая плесень.

Следующий шаг был прост и логичен. Степа свернул семь газетных листов в удобную длинную мухобойку и начал переправлять в иной мир мух, залетавших в кухню со двора. Чтобы их души доходили по нужному адресу, каждый раз после попадания Степа шепотом повторял непонятно как сложившийся в его голове стишок: «Семь осин и сосен семь, семь семерок насовсем». Было не до конца понятно, сколько именно мух следовало отправить к семерке под эту считалку – то ли семь раз по семь, то ли семьдесят семь. Степа решил остановиться на втором варианте и уже подбирался к заветной цифре, когда внезапный удар судьбы сделал проект неактуальным.

Его нанесла книга, которую забыл на кухонном столе отец, даже не вся книга, а одна только фраза на развороте, куда Степа нечаянно опустил взгляд – про некоего Штирлица, который так твердо верил в счастливое предназначение числа «семь», что, снабжая кого-то ложной информацией, старался, чтобы присутствовавшие в ней цифры давали в сумме семерку.

Степа понял, до какой степени он со своей мухобойкой неконкурентоспособен в мире, полном взрослых людей, разделяющих те же взгляды на чудесное. Их возможности были неизмеримо шире; некоторые могли отправить по магическому адресу много миллионов человек, не то что мух. Стоило ли надеяться, что семерка, окруженная сонмами могущественных почитателей, обратит внимание на него? Это было так же наивно, как рассчитывать, что слон, окруженный духовым оркестром, заметит жужжащего комара.

На долгое время Степа потерял веру в то, что из союза с цифрами можно что-нибудь извлечь. Даже сама мысль, что его можно заключить, стала представляться ему сомнительной.

Потребовалось несколько лет, чтобы рана в душе затянулась, и Степу посетили новые идеи относительно цифр и чисел.

Семерка была всеобщей избранницей. К ней обращались все – британские суперагенты, сказочные герои, города, стоящие на семи холмах, и даже ангельские иерархии, имевшие привязанность к седьмому небу. Семерка была избалованной и дорогой куртизанкой, и неудивительно, что скромные Степины ухаживания оставались без ответа. Но она была не единственной цифрой на свете.

Однако Степа, наученный печальным опытом, не спешил выбрать какую-то другую. Он догадывался, что, к какой цифре он ни повернись, в мире найдется много людей, сделавших тот же выбор. А чем больше у него будет конкурентов, тем меньше шанс, что выбранная цифра откликнется на его волхования или хотя бы догадается о его существовании. С другой стороны, логика подсказывала, что двузначные и трехзначные числа не так избалованы вниманием.

Степа интуитивно чувствовал, что цифры от единицы до девятки были могущественнее двузначных чисел, а двузначные – сильнее трехзначных, и так далее. Но ему запали в душу слова Цезаря, услышанные на уроке истории, – «лучше быть первым в галльской деревушке, чем

последним в Риме» (учительница оговорила, сказав «лучше быть первым в Риме, чем последним в галльской деревушке», но Степа понял, что это ошибка, потому что для Цезаря это звучало бы слишком самодовольно). И он принялся подбирать галльскую деревушку поспокойнее.

После долгих размышлений он остановил выбор на числе «34». В сумме четверка и тройка давали ту же самую семерку. Это наделяло число «34» подобием небесной генеалогии, как у греческих героев, возводивших свою родословную к богам. Степа не предавал свое изначальное божество, он находил более рациональный способ воззвать к нему. Кроме того, как и семерка, тройка с четверкой были особенными цифрами – они имели цвета. Степа помнил, что раньше, когда он был совсем маленьким, цвета были у всех цифр. Потом они стерлись, только у четверки остался хорошо различимый зеленый, у семерки – синий, и у тройки – слабые следы оранжевой краски на центральном выступе.

Было много других соображений, которые Степа принял во внимание – например, «тридцатьчетверка» была лучшим русским танком второй мировой, и, значит, число «34» несло на себе отраженный свет удачи и победы. Выбор, который он сделал, вызревал в его уме так долго, что было даже не до конца ясно, он ли выбрал число «34», или оно его.

Он был уже большой мальчик – школа близилась к концу, и под носом у него темнели пробивающиеся усы, похожие на два минуса, которые, как он надеялся, должны были со временем дать обещанный математикой плюс. Теперь он стал осмотрительнее. Обзаведясь новым патроном в мире чисел, он не стал повторять своего жестокого мухоприношения. Число «34» были ни к чему мертвые мухи, и даже мертвые люди, он понимал это ясно. Следовало идти другим путем – не совершать невнятные магические ритуалы, а пропитать этим числом всю жизнь, слиться с ним, доказав свою преданность ежедневным усердием.

Степа начал с того, что стал вставать не в шесть тридцать, как раньше, а в шесть тридцать четыре. Так же сдвинулись все остальные точки его расписания, которые зависели от него. Назначая встречу на половину шестого, он приходил на четыре минуты позже, специально задерживаясь в вестибюле метро, чтобы дать стрелке переползти на несколько делений вперед. Когда рациональная часть ума начинала нашептывать, что его поведение глупо, для нее был наготове рациональный ответ.

Все вокруг меняется каждый миг, и в каждый момент мир представляет собой сумму иных обстоятельств, чем секундой до или после. Люди, с которыми мы имеем дело, тоже постоянно меняются и ведут себя по-разному в зависимости от того, какие именно мысли попадают в моментальное сечение их умов. Поэтому, выбирая временную и пространственную точку своей встречи с миром, мы занимаемся совершенно реальной магией, может быть, даже единственно возможной магией, потому что каждый раз мы решаем, в какой именно мир нам вступить. В одном нас ждет падающий из окна горшок с бегонией или несущийся из-за угла грузовик, в другом – благосклонная улыбка Незнакомки или толстый кошелек на краю тротуара, и все на одних и тех же улицах... Эти слова Степа нашел много позже, уже тогда, когда научился превращать числа в деньги, но сама мысль, на которую они указывали, в неоформленном виде была знакома ему со школы.

Засыпая, он считал не до ста, а до тридцати четырех, потом опять до тридцати четырех, и так далее. Выбирая в кафе, за какой из столиков сесть, он начинал считать их по кругу, по несколько раз каждый, пока на добирался до тридцати четырех. Перед тем как нырнуть в море с пирса, он делал тридцать четыре быстрых вдоха. Каждый раз, когда надо было принять решение, он тем или иным способом привязывал его к священному числу. Это давало ему чувство, что он идет по уникальному маршруту, отличному от других человеческих жизней. И, хоть внешне его судьба ничем не отличалась от судеб сверстников, маршрут действительно был необычен. Когда

Степа прошел по нему достаточно далеко, он стал получать подтверждения одно за другим. Или, может быть, научился их узнавать.

Однажды в летнее воскресенье он сидел дома и рассеянно глядел в окно. Вдруг с улицы понеслись тяжелые удары – на стройке заработала машина, забивающая в грунт металлические сваи. Степа непроизвольно начал считать их. Ударов оказалось ровно тридцать четыре, потом машина остановилась и больше о себе не напоминала. В этом, возможно, не было бы ничего особенного, если бы за секунду до первого удара он не подумал, что так и не знает, удалось ли ему достучаться до сердца своего божества. Кроме того, это произошло в выходной, когда на стройках никто не работает, – последнее обстоятельство окончательно убедило Степу, что случившееся было знаком.

В другой раз, когда его посетили сомнения, он, повинуясь импульсу, включил телевизор. На экране появились титры польского фильма «Три танкиста и собака» – что означало, как он сразу догадался, «34» – три (танкиста) и три плюс один (полный экипаж). Если в таком подходе и была небольшая натяжка, ее можно было извинить, вспомнив, что танк, на котором ездили собаколюбивые поляки, назывался «Т-34».

Рано с утра в свой семнадцатый день рождения – особенный, потому что семнадцать на два давало тридцать четыре, – он решил устроить окончательный экзамен себе и избранному числу. Он загадал, что этот союз приведет его к цели (правда, что это за цель, он пока не знал), если в номере билета, который он купит в кинотеатре, окажутся цифры «3» и «4». Чтобы придать событию достаточную протяженность во времени, Степа выбрал кинотеатр на другом конце Москвы. Часовая поездка на метро стала подобием восхождения к горному храму, во время которого от человека отлипают накопленные в миру грехи.

Билет был куплен ровно за тридцать четыре минуты до начала фильма. Степа вышел на улицу и, глубоко вздохнув, заглянул в него, словно игрок, открывающий карту, от которой зависит вся партия.

В шестизначном номере не оказалось ни троек, ни четверок. Номер ряда был одиннадцать. Номер места – пятнадцать. Степа почувствовал, как мир, который он столько лет создавал по кусочкам, разваливается на части. Экзамен был провален.

Купив в ближайшем магазине бутылку портвейна, он выдул ее из горлышка в подъезде, покурив немного у заплеванного окна и пошел по купленному билету в кино – делать все равно было нечего. Усевшись на свое место, он опустил взгляд на спинку кресла впереди и почувствовал, как зал начинает крениться набок. Но дело было не в выпитом.

Перед ним чернела жирная надпись несмываемым маркером: «САН-34». Что такое «САН», он не знал – может быть, группа в каком-нибудь учебном заведении или что-нибудь в этом роде. Зато он хорошо знал, что такое «34». Степа провел по надписи пальцем. Дерматин обивки был прохладным и шероховатым. Он несколько раз моргнул, проверяя, не обманывает ли его зрение. Потом он заверещал на весь зал, и от неприятностей его спасло только начавшееся затмение перед сеансом.

После этого случая стало окончательно ясно, что пакт, о котором он мечтал с детства, заключен. Приятной новостью было и то, что у числа «34» появились союзники – «17» и «68». Степа не назначал их на эту роль – все произошло само собой. Просто в какой-то момент он понял, что эти два числа служат тридцати четырем, являясь вестниками – еще не самим солнцем, а обещанием света, сиянием на кромке расступающихся облаков.

Поняв, что услышан, Степа не только обрадовался, но и испугался. Было не очень понятно,

кем именно он услышан. Иногда ему становилось жутко – он понимал, что втянулся в странную игру, выйти из которой будет непросто.

Такие попытки были. Однажды, совершая посвященный числу «34» ритуал, он отсидел в темном деревянном погребе тридцать четыре часа и натерпелся серьезного страха. Были даже галлюцинации, на редкость малоинтересные, – простоволосая баба в юбке из мешковины начинала переставлять горшки в углу каждый раз, когда он о чем-то задумывался и забывал, что никаких горшков и бабы там нет. После этого опыта он решил, что сходит с ума, и дал себе слово больше не заниматься ерундой. Но сделать что-нибудь с психическим зарядом, который он по капле влил в любимое число, было нельзя. Теперь эта энергия существовала независимо от него, или, во всяком случае, так казалось. Можно было сколько угодно убеждать себя, что «34» – такое же число, как и все остальные, и клясться, что детские игры остались позади, но глубин души это не затрагивало. Стоило ему увидеть тройку рядом с четверкой, как дрожание центрального нерва личности показывало, что его договор с числами остается в силе – и будет теперь в силе всегда.

Из круглолицего мальчика Степа превратился в такого же круглолицего молодого человека, словно все возрастные трансформации свелись к тому, что его накачали насосом и подкрутили вверх усы. Если бы в Степином окружении нашелся человек, знающий о его тайне, он, наверно, увидал бы в чертах его лица связь с числом «34». У Степы был прямой, как спинка четверки, нос – такие в эпоху классического образования называли греческими. Его округлые и чуть выпирающие щеки напоминали о двух выступах тройки, и что-то от той же тройки было в небольших черных усиках, естественным образом завивающихся вверх. Он был симпатичен и напоминал чем-то покемона Пикачу, только взрослого и пуганого.

Несмотря на некоторую полноту, Степа нравился женщинам. Мужчинам он нравился тоже – но по другой причине: он производил впечатление божьего одуванчика, которого можно не принимать всерьез. За такой поверхностный вывод поплатились многие недотепы брутального вида. Степа не был коварен. Но в обиду себя не давал.

Выбор профессии оказался для Степы прост – он поступил в финансовый институт. Страсти к бухгалтерскому делу у него не было, но информация об этом учебном заведении оказалась на тридцать четвертой странице пособия для поступающих в вузы.

Наблюдая за товарищами по учебе, он начал замечать, что многие из них, как и он, придают значение числам. Но они не брали на себя ответственности за то, какие именно числа управляют их жизнями, и походили на стадо баранов. Они склонялись перед избалованной семеркой и уважительно относились к троице за то, что ее «бог любит», хотя могли при этом не верить в Бога. Кроме того, все боялись числа «13». Для этого страха был даже специальный греческий термин, «triskaidekaphobia». Это дикое слово было производным от греческого «тринадцать», но Степа слышал в нем что-то вроде иррационального страха отравиться треской в буфете дома культуры.

Постепенно Степа перестал считать себя ненормальным. Особенно в этом помог фрагмент из романа Толстого «Воскресенье», который он прочел летом на даче, когда под рукой не оказалось ничего интереснее. Один из героев, член суда, проделывал операцию, которая показалась Степе настолько значительной, что он скопировал в тетрадь по военной подготовке посвященный ей абзац:

«Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов до кресла от двери кабинета будет делиться на три без остатка, то новый режим вылечит его от катара, если же не будет делиться, то нет. Шагов было двадцать шесть, но он сделал маленький шагжок и ровно на двадцать седьмом подошел к креслу».

Степа понимал, что вряд ли какой-то юрист взял и рассказал мятежному графу о своей привычке за рюмкой шартреза. Скорее всего, Толстой наделил героя одной из собственных тайных черт. А раз сам Толстой грешил чем-то подобным, волноваться за свой рассудок не стоило.

Когда сомнения отпали, Степина жизнь стала проще. Число «34» с железной необходимостью диктовало ему все существенные поступки. Но это не значило, что Степа с утра до вечера занимался только тем, что искал, как бы втиснуть эти цифры в реальность. Пустяковые каждодневные дела могли находиться в нейтральной зоне – там, где большинство людей проводило все свои жизни. Но если решение, которое Степа собирался принять, могло иметь серьезные последствия, он обращался к своему невидимому союзнику.

Практически в любом событии или процессе можно было выделить область, которая находилась под согревающими лучами заветного числа. Можно было сесть на тридцать четвертое место в поезде, увозившем в новый город, отжаться тридцать четыре раза во время зарядки или выпить чай за тридцать четыре глотка. Проще всего было сосчитать про себя до тридцати четырех. По этой причине, кстати, Степа слыл человеком с железным самообладанием, который никогда не срывается и не ввязывается в склоки – даже тогда, когда не выдерживали самые непробиваемые, те, кто следовал правилу «сосчитать до десяти» перед тем, как ответить грубостью на грубость или захватить обидчику кулаком в рожу. У его выдержки было математическое объяснение: $34 > 10$.

Однако не все в жизни было гладко. Постепенно на горизонте возникла туча, которая с каждым днем закрывала все большую часть некогда безоблачного простора. И пришла она из того же измерения, откуда перед этим появилось число «34».

Дело было в том, что из тех же цифр – тройки и четверки – можно было составить еще одно число, «43». Но если «34» вмещало в себя все лучшее, что было в Степиной жизни, то «43» было его антиподом, эдаким портретом Дориана Грея. Это сравнение казалось Степе уместным, потому что Дориан Грей и «43» находились в отдаленном родстве – «D» была четвертой буквой латинского алфавита, а согласных в слове «Дориан» было три. Степа сознательно выбрал «34» в качестве своего ангела-хранителя. А «43» влезло в его жизнь без спроса, совершенно не интересуясь, хочет он этого или нет.

Мало-помалу Степа стал замечать неприятные вещи, связанные с этим числом. То, что цифры стояли в нем в обратном порядке, делало его как бы противоречащим мировой гармонии – или, во всяком случае, той части мировой гармонии, которая работала на Степу. У этого было историческое доказательство – в тысяча девятьсот сорок третьем году произошла одна из решающих битв великой войны, Курское танковое сражение, – и число «43» было до сих пор заряжено жутковатым эхом той даты. Во время этой битвы было уничтожено огромное количество «тридцатьчетверок». Число «43», несомненно, символизировало гибель всего того, что сулило Степе удачу и свет.

Степа стал обращать внимание на то, при каких обстоятельствах «43» появляется в его жизни. Этому всегда сопутствовало что-нибудь малоприятное. Встретив это число, Степа заранее настраивался на неудачу, а четвертого марта с самого утра помнил, что в этот день его

ждут одни беды.

Могло ли быть так, что он подсознательно устраивал эти беды сам? Такая возможность приходила ему в голову. Все можно было объяснить простым самовнушением. Только это объяснение на самом деле не объясняло ничего. Человеческое существование, говорил один Степин знакомый, и есть не что иное, как сеанс самогипноза с принудительным выводом из транса. Слово «самовнушение» звучало научно, но Степа не изучал свою жизнь, а жил ее. Как бы это ни называли другие, радость, наполнявшая его душу, когда судьба посылала ему тройку с четверкой в нужном порядке, была для него совершенно реальна. Но за это приходилось платить такой же реальной тоской, которая сжимала его сердце, когда порядок цифр оказывался обратным.

Сильнее всего пугало даже не то, что в его жизни без спроса появилось число «43», вокруг которого концентрировалось зло. Он догадывался, что свет и тень нераздельны. Проблема была в другом. Иногда трудно было понять, с чем он имеет дело – с сорока тремя или с тридцатью четырьмя. Например, глядя на фотографию «Титаника», он сразу замечал четыре трубы и три промежутка между ними. Это было «43», что не требовало никаких доказательств. А если доказательства были бы нужны, судьба этого корабля говорила сама за себя.

С другой стороны, вилка, которой он каждое утро цеплял залитый яйцом бекон, тоже имела четыре зубца и три промежутка между ними. Но он с давних пор видел в этой комбинации число «34», заряжавшее позитивной энергией каждый кусок, который отправлялся ему в рот. В таких случаях искать рационального объяснения было бесполезно.

Впрочем, логике и здравому смыслу все равно находилось место в жизни. Но в действие они вступали не тогда, когда надо было принять решение, а тогда, когда оно было уже принято. И нужны они были только для того, чтобы подобрать этому решению убедительное обоснование.

Ладонь с поджатым большим пальцем означала «43», когда он смотрел на нее с внутренней стороны. А с внешней она означала «34». Степа видел это безо всякой логики. Но он не знал, почему это так. И тут приходил на помощь разум. Он говорил, например, следующее: ноготь чем-то похож на стекло мотоциклетной каски или забрало космического шлема. Поэтому, подавая хороший знак, ладонь как бы поворачивается к нему лицом. А когда она отворачивается, да еще становится виден скрюченный, словно побежденный большой палец, это дурное знамение – «43». Но Степа не сомневался, что если бы подсознание расставило числа наоборот, логика и здравый смысл тоже что-нибудь придумали бы. Поэтому он относился к ним с добродушной иронией, как к информационным проституткам из телевизора, и не принимал их всерьез. Возможно, именно по этой причине он добился успеха в бизнесе, где рациональность решает все только на взгляд дилетанта.

Степин бизнес начался обыкновенно – с торговли компьютерами в позднюю горбачевскую эру. Любимому числу было где разгуляться на этом просторе, и нелюбимому тоже. Договоры, в порядковых номерах которых выскакивало «43», Степа брал под особый контроль, а если это число повторялось дважды, он вообще отказывался подписывать такую бумагу под любым, самым смехотворным предлогом – что бы ни орали партнеры и заказчики. Разбивая компьютеры на партии, Степа старался, чтобы их было именно 34 («Такая поставка, – объяснял он клиенту, заказавшему сотню „экстишек“, – завтра столько же, а послезавтра остаток»). Если партии были совсем мелкими, то он старался распределить их так, чтобы в первый день ушло три машины, а на следующий – четыре. Потом он брал паузу, чтобы случайно не получилось число «43». Таких технологий у него было много.

Поскольку весь вырабатываемый душой страх тратился у него на отношения с числами, бандитов Степа почти не боялся. Его пугала мысль, что в него могут выстрелить из «кольга» сорок третьего калибра, но такая вероятность была мала. Бывало, что очередное появление братков каким-то образом совпадало с манифестацией ненавистного числа, и тогда Степа вел себя как обычный трусливый коммерсант. Но бандиты, ошибочно принявшие это на свой счет, могли поплатиться.

Один раз на Степин бизнес наехали гастролировавшие в Москве чеченцы – некие «урус-мартанские». Проанализировав по укурке это слово, Степа путем замысловатых вычислений, связанных с номерами букв в алфавите и порядком букв в слове, нашел в нем дважды повторяющееся число «43» и согласился на все их требования. Но, повторив расчеты с утра на ясную голову, он понял, что ошибся. Проверив себя еще два раза, Степа позвонил своей крыше, тоже чеченской, – двум братьям с библейскими именами Иса и Муса. Когда урус-мартанские приехали за деньгами, состоялся короткий геральдический диалог, прямо в ходе которого Иса и Муса расстреляли гостей надпиленными крестом пулями из своих «Стечкиных». Урус-мартанские принадлежали к враждебному тейпу.

Кресты на пулях не имели никакого отношения к христианству – такая пуля, попадая в тело, не прошивала его насквозь, а распускалась косматой свинцовой розой и отшвыривала собеседника назад, не оставляя ему тех нескольких секунд дееспособности, которые часто портят все на свете. В результате о Степе пошла слава как о расчетливом и жестоком человеке с железной хваткой, который не просто может устроить обидчику встречу с Аллахом, но способен даже стравить чеченов друг с другом.

Эта слава оказалась кстати, когда Степа стал расширять свой бизнес. Числиться негодяем и убийцей было полезно. Это защищало от человеческой подлости: души повышенной конкурентоспособности узнавали демона старше рангом и уходили восвояси – кидать об колени тех, в ком угадывались хоть какие-то черты Спасителя. Степа по натуре был добрым человеком, склонным прощать обидчиков и помогать тем, кто попал в беду, но из-за истории с урус-мартанскими это удалось скрыть от общества.

Вскоре выяснилось, что его давнее решение поступить в финансовый институт было мудрым выбором. Пригодились не полученные знания о природе социалистических финансов (от них ничего не осталось в голове), а знакомства: бывший профорг курса помог Степе зарегистрировать собственный банк. Оказалось, что многих ключевых людей он знает еще с тех времен, когда бизнес назывался комсомолом. По-настоящему сложным было только одно – придумать банку название.

Над этим вопросом он ломал голову долго. Скомканные листы бумаги, исписанные отвергнутыми вариантами («Воробьевы горы», «Волшебник Гудвин», «Великий Гермес»), заполнили сначала корзину для мусора, а потом все углы рабочего кабинета. Сотрудникам было запрещено соединять со звонящими, пока длятся муки творчества, и они уже начинали беспокоиться о состоянии шефа, когда решение нашлось.

Оно было парадоксальным. Степа вспомнил надпись на спинке кресла, увиденную в кинотеатре в день семнадцатилетия – «САН-34». В слоге «САН» не было ничего общего с «34». С другой стороны, трудно было найти слово, до такой степени родственное главному числу Степиной судьбы. Но понять этого не смог бы даже самый пронизательный недоброжелатель, и тайна оставалась тайной. Так родился «Санбанк».

Под название подобралось и поле деятельности. Естественным образом им оказались проекты, связанные с санитарией и городской канализацией. Над Степой посмеивались друзья и знакомые из банков, названия которых напоминали об оазисах в знойных пустынях или тропических орхидеях, питающихся жуками и мухами. Но Степа не обижался – от

романтических имен, которыми его однокурсники награждали свои детища, за версту тянуло статей и пулей. Было ясно, что долго они существовать не будут. А вот «Санбанк» был чем-то настолько унылым и никому не нужным – а значит, никому и не мешающим, – что это название («несколько пованивающее имя», как выразился один эстетствующий таблоид) оказалось отличным камуфляжем. Многие сразу оценили, насколько спокойнее проводить серьезные операции через контору, которая ассоциируется с санитарным делом, чем иметь дело с каким-нибудь «Гламур-банком» или «Бонн-банком». Меньше гламура, зато меньше головной боли.

Его бизнес рос и расцветал, словно гадкий утенок из сказки Андерсена, который незаметно превращался в лебедя. Этому помогла элементарная имиджевая операция – незадолго до кризиса девяносто восьмого года Степа перевел имя банка на английский как «Sun Bank». Когда эти слова засверкали рядом с русским названием на всех документах, стало казаться, что банк с самого начала имел отношение не столько к отечественной санитарии, сколько к англоязычному солнцу свободного мира, и «Санбанк» – просто русская транскрипция его настоящего имени. Не имея на это никаких прав, Степино детище стало восприниматься как ответвление сразу всех западных корпораций, в название которых входит слово «Sun». Степа сознательно сыграл на этом, содрав эмблему банка с логотипа «Sun Microsystems». Получилось похоже, только на месте стилизованных букв «s», «u» и «n» стояли цифры «3» и «4», настолько измененные художником, что непосвященный наблюдатель видел в них геометрический узор. Тех, кто помнил, с чего начиналось Степино дело, оставалось вокруг все меньше и меньше – да Степа и не особо за них держался.

Бизнес он вел так же, как во время торговли компьютерами. Разница была в том, что вместо коробок с надписью «fragile»^[2] теперь отгружались и загружались огромные суммы денег, и происходило это не в области видимых и осязаемых предметов, а в смутном измерении электромагнитных зарядов и электрических цепей, про которое Степа мало что понимал.

Всеми его решениями управляли два числа – «34» и «43»; первое включало зеленый свет, а второе – красный. Несмотря на это, дела у него шли лучше, чем у большинства конкурентов. Другие объясняли это его парадоксальной интуицией; сам же Степа знал, что все дело в животворном влиянии тридцати четырех. Впрочем, иногда, особо темной и длинной зимней ночью, в нем просыпался рационалист, и он принимался соображать, как такое может быть – люди с целым штатом консультантов, референтов, аналитиков и астрологов принимают взвешенные решения и проигрывают, а он, случается, отвергает верный выигрыш только из-за того, что где-то рядом с ним мелькает «43», или, наоборот, кидается в омут, откуда ему подмигнуло «34», и *снимает банк* (не всегда, конечно, но чаще, чем те, кто руководствовался здравым смыслом). Постепенно в его голове забрезжил ответ.

Эпоха и жизнь были настолько абсурдны в своих глубинах, а экономика и бизнес до такой степени зависели от черт знает чего, что любой человек, принимавший решения на основе трезвого анализа, делался похож на дурня, пытающегося кататься на коньках во время пятибалльного шторма. Мало того, что у несчастного не оказывалось под ногами ожидаемой опоры, сами инструменты, с помощью которых он собирался перегнать остальных, становились гириями, тянувшими его ко дну. Вместе с тем, повсюду были развешены правила катания на льду, играла оптимистическая музыка, и детей в школах готовили к жизни, обучая делать прыжки с тройным оборотом.

Степа же следовал закону, о котором мир не имел никакого понятия. От броуновских частиц, которые металась в поисках наикратчайшего пути и в результате проводили свой век, вращаясь в бессмысленных водоворотах, он отличался тем, что траектория его жизни не зависела от калькуляций ума. Он был как разумный человек среди диких зверей, которых гнал куда-то инстинкт. При этом дикими зверями остальных делало как раз стремление поступать

как можно обдуманней, а его в разумного человека превращало то, что вместо путаных указаний рассудка он раз за разом подчинялся одному и тому же иррациональному правилу, о котором не знал никто вокруг. Это была самая настоящая магия, и она была сильнее всех построений интеллекта.

Степе исполнилось тридцать четыре года в разгар ельцинской эпохи. Степа понимал, что это центральный год его жизни – он был молод, полон сил, банк крутил такие деньги, что иногда становилось страшно оставаться одному в темноте, но главным было не это. Он и число «34» на триста шестьдесят дней слились в одно целое. Степа чувствовал, что стал сакральным существом, чем-то вроде римской весталки или понтифика, и невидимое присутствие божества будет осенять каждый его шаг весь срок. Надо было использовать это время с умом, и Степа старался.

Дела шли хорошо. Он заработал много денег и спрятал часть за границей – не потому, что чего-то боялся, а потому, что так делали все. Но ему жалко было тратить этот необычный год только на материальные приобретения. Древние авгуры предсказывали будущее, наблюдая за полетом птиц с возвышенных мест. Так же и он хотел увидеть все главное про свою жизнь с вершины, на которой оказался. Степа чувствовал, что надо обратиться к какому-нибудь духовному авторитету, посреднику между хаосом жизни и вечным порядком небес. Но к кому?

Отношение Степы к религии определили впечатавшиеся в память буквы «ХЗ», которые он ребенком увидел в церкви во время Пасхи (на церковной стене должно было гореть «ХВ», но одна стойка ламп не работала). Дело, однако, было не в сходстве этого сокращения с эмблемой воинствующего агностицизма. Все было куда серьезней. Число «43» проступало сквозь четыре конца буквы «Х» и тройку «3» (а если даже и воскрес, «В» все равно было третьей буквой алфавита).

С такими рекомендациями библейский бог не имел в Степиной душе никаких шансов. После юношеского чтения Библии у него сложился образ мстительного и жестокого самодура, которому милее всего запах горелого мяса, и недоверие естественным образом распространилось на всех, кто заявлял о своем родстве с этим местечковым гоблином. К официальной церкви Степа относился не лучше, полагая, что единственный способ, которым она приближает человека ко Всевышнему, – это торговля сигаретами.

Но это не значило, что он был вульгарным атеистом, признающим только силу денег. Он понимал, что число «34» – приоткрытая дверь, сквозь которую он общается с той же силой, которая доступна другим людям через бесконечное многообразие форм, в том числе и тех, которые пугали его своим кажущимся уродством. Но на рынке религий не было продукта, который мог бы утолить его тоску по чудесному лучше, чем общение с числами.

Во всем, что выходило за пределы его тайного завета, Степа, как и большинство обеспеченных россиян, был шаманистом-эклектиком: верил в целительную силу визитов к Сай-Бабе, собирал тибетские амулеты и африканские обереги и пользовался услугами бурятских экстрасенсов. Поэтому, когда он ощутил потребность в духовном напутствии, он отправился к болгарской прорицательнице Бинге, которая считалась в то лето в Москве хитом сезона. Говорили, что Бинга видит чужое будущее так же ясно, как обычный человек свое прошлое.

Бинга оказалась полной женщиной, одетой в ворох пестрых тряпок. В комнате, где она принимала посетителей, пахло травами, пучки которых сушились на нитке под потолком. По углам стояли обломок античной колонны, почерневшая прялка, ламповый приемник «Siemens» и древняя закопченная лавка. На стене висела книжная полка с подшивками журнала «National

Geographic», портрет Елены Блаватской и плакат художника Мухи, изображавший загадочную красавицу в стиле модерн на фоне раскрывшего крылья орла.

Степу разочаровало увиденное. Этнографические экспонаты отдавали какой-то дешевой декорацией. Бинга брала за свои услуги столько денег, что было понятно – ей не надо ни прясть, ни сушить травку на нитке. Ее дом окружала целая бизнес-деревня с офисом, несколькими кафетериями, гостиницей и даже магазинчиком сувениров. Но в этом, возможно, и была проблема: на Бингу мог работать персональный дизайнер, который и натаскал в комнату уродливую рухлядь.

Эти мысли пронеслись у него в голове за одну секунду, а в следующую Бинга улыбнулась, показала на стул напротив своего кресла и сказала на чистейшем русском:

– Верно, милый. Все зло на свете от них.

Степа сел.

– Вы говорите по-русски? – спросил он.

– А то, – сказала Бинга и взяла в руки картонный калейдоскоп дешевого вида. – Я кончала Харьковский педагогический. Правда, давно. Подозреваю, что с тех пор педагогическая наука ушла далеко вперед.

Степа помнил, сколько стоит каждое слово, и не стал задавать вежливых вопросов про Харьковский педагогический. Бинга подняла калейдоскоп и уставилась сквозь него на Степу, словно это была подзорная труба. Поворачивая его под разными углами, она наклонилась вперед, словно увидела что-то интересное. Постучав толстым пальцем по стенке картонного цилиндра, она наморщилась, а потом захохотала – так громко, что входная дверь открылась, и в комнату заглянул испуганный секретарь. Степа ничего не сказал – перед сеансом его проинструктировали не задавать никаких вопросов, пока Бинга *смотрит*.

Отсмеявшись, Бинга минуты три-четыре молча глядела в калейдоскоп, иногда чуть встряхивая и поворачивая его.

– Фу! – сказала она не то с осуждением, не то с недоверием. – Фу!

Степа покраснел, но промолчал. Бинга отложила картонную трубку в сторону.

– У тебя в жизни есть два главных числа, – сказала она. – Лунное и солнечное.

Степа ничего не ответил, только плотнее прижался к спинке стула.

– Тебе солнечное число лет, – сказала Бинга, – поэтому ты думаешь, что это особенный год в твоей жизни. Но это на самом деле будет довольно обычный год. Ничего не случится. И следующие годы твоей жизни будут спокойными и счастливыми, примерно как этот. Но вот когда приблизится твой лунный год, вот тогда...

– Что? – дернувшись, спросил Степа. – Будет что-то страшное?

– Один день, – сказала Бинга. – Какой-то один день. Но это будет такой день, что из-за него изменится вся твоя жизнь. Я не все разбираю – может быть, ты победишь. Может быть, наоборот, погибнешь. Может быть, и то и другое. Все будет зависеть от того, сумеешь ли ты помочь своему числу стать сильнее.

– А как я могу помочь своему числу стать сильнее? – спросил Степа.

– Я не знаю, – ответила Бинга. – Это же твое число, а не мое. Многие из того, что я вижу, от меня скрыто.

– Это как? – спросил Степа. – Как можно видеть то, что от тебя скрыто?

– Я вижу цветные мозаики, которые превращаются в рассказ о чужой судьбе, – ответила Бинга. – Но это просто картины, которые становятся словами. Я могу повторить эти слова, но не всегда сама понимаю их смысл.

– Может быть, их пойму я? – спросил Степа. – Что там такое?

– Я вижу твое будущее в трех цветах. Но все три цвета говорят разное. Когда я смотрю на

синие стекла, я вижу библейскую историю. Ты возьмешь в руку копьё судьбы, постигнешь число зверя, вступишь с этим зверем в бой и пронзишь его. Но зверь тоже попытается нанести тебе удар. Кто победит, я не вижу – словно вы оба срываетесь в бездну и исчезаете...

Степа вспомнил, что картинка на экране телевизора складывается из трех цветов – синего, зеленого и красного. Наверно, ясновидение Бинги было основано на похожем принципе.

– А что говорит зеленый? – спросил он.

– Зеленый говорит куда яснее, – ответила Бинга. – Зеленый говорит, что у тебя есть лунный брат, которого ты встретишь, и этот лунный брат и есть зверь.

– Лунный брат? – спросил Степа, завороженный странной красотой этого сочетания.

– Ты – человек солнечного числа. Твой лунный брат – человек лунного числа.

– Значит, лунное число и есть число зверя?

– Не знаю, – сказала Бинга. – Странно. Синий говорит, что это так. А зеленый говорит, что это библейское число зверя, 666, которое у твоего лунного брата на руке. Во всяком случае, две цифры из трех я вижу ясно.

– А что говорит красный цвет?

– То, что говорит красный цвет, настолько неприлично, что я не могу рассказать про это вслух, не оскорбив помогающих мне ангелов. Но это не только неприлично, это еще и смешно.

– А можно хотя бы как-нибудь иносказательно?

– Можно, – сказала Бинга, надула щеки, сделала круглые глаза и с пронзительным звуком выпустила воздух из щелочки между сжатых губ.

Открылась дверь, и в комнату опять заглянул секретарь. Убедившись, что все живы, он жестом показал Степе, что ему пора.

– Последний вопрос, – сказал Степа, вставая, – могу я верить своему числу?

– Да, – сказала Бинга. – Но тебе надо не только верить, а еще и служить ему. Тебе надо ухаживать за ним, словно это роза, которая растет в пустыне. Особенно важно это станет, когда приблизится лунный год. Если в это тяжелое время ты сумеешь сделать так, что солнечное число станет сильнее лунного, ты победишь. Но ты обязательно должен успеть до своего дня рождения.

Степа пошел к двери.

– И еще, – окликнула его Бинга. – Солнечное число может быть любым. И лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом.

– В чем? – спросил Степа.

Бинга пожала плечами.

– Если ты сам не видишь прямо сейчас, – сказала она, – кто и когда тебе объяснит?

Через несколько лет после Степиного визита к Бинге в стране начался процесс, который западные социологи называют парадигматическим сдвигом. Как и все эпохальные перемены, он проходил незаметно, словно бы в каком-то другом измерении, и люди узнали о нем постепенно, по множеству мелких черт, каждая из которых сама по себе могла ничего не значить.

Первым человеком, который внятно сформулировал для Степы то, что уже давно витало в воздухе, стала Мюс, филолог из Лондона, которая кормилась на его англофилии, подрабатывая в банке референтом-переводчиком.

Мюс была очаровательной молодой женщиной, до изумления похожей на кошечку. У нее были большие как у страха глаза и удивительная прическа, которая состояла из короткой стрижки и шести «антенн» – пучков волос, слепленных сильнейшим гелем в длинные

параллельные иглы, парами торчавшие из ее головы вверх и в обе стороны (она даже вплетала в эти стрелки проволоку – они были слишком тонкими и длинными для одного геля). Эти покачивающиеся антенны так напоминали Степе кошачьи усы, что ему все время казалось – Мюс вот-вот мяукнет.

Кроме работы в банке, она стажировалась при университете, проедая остатки гранта, выделенного какой-то аналитической структурой на изучение современного городского фольклора (как говорила сама Мюс, такие проекты оплачивали исключительно для того, чтобы не сокращалось бюджетное финансирование разведдательности по России).

Мюс великолепно знала русский язык, который достался ей по наследству от эмигрантки-бабушки, но русской себя не считала. То, как она разбиралась в своей теме, наполняло Степу глубоким уважением к ее интеллекту и филологическим способностям. Он сумел помочь ей с городским фольклором только раз, сообщив чеченскую поговорку «В один пуля нет вони», которую часто слышал от Исы с Мусой. Мюс записала ее на специальную серо-коричневую перфорированную карточку, но сказала, что это, вероятнее всего, версия пословицы «Один в поле не воин», которую чеченская народная душа заимствовала у русской в те времена, когда они были мирными соседями по нарам. Словом, Мюс была умницей и настоящим профессионалом. Поэтому Степа не комплексовал, когда она объясняла ему вещи, которые, по идее, должен был объяснять ей он.

Однажды за обедом в «Гараже» (они сидели в прозрачном выступе на улице, откуда открывался вид на казино «Шангри-Ла» и редакцию «Известий»), Мюс коснулась его самого больного нерва.

– Все существенные социальные перемены, – сказала она, – очень быстро отражаются в фольклоре. То, что происходит сейчас в России, затрагивает один глубинный, можно сказать, архетипический пласт. Я не очень сложно выражаюсь?

– Ничего, разберусь, – отвечал Степа, подхватывая вилкой колобок риса с полоской сырой туны (он ел суши только вилкой).

– Эта тема, – продолжала Мюс, – столкновение двух исконных начал русской души. Одно из них – доброе, лоховатое, глуповатое, даже придурковатое, словом, юродивое. Другое начало – наоборот, могучее, яростное и безжалостно-непобедимое. Сливаясь в символическом браке, они взаимно оплодотворяют друг друга и придают русской душе ее неиссякаемую силу и глубину.

Степа промокнул салфеткой губы и покосился на аккуратную грудку собеседницы.

– Допустим, – сказал он. – А при чем тут перемены?

– Вот тут и начинается самое интересное, – ответила Мюс. – Лоховатое начало в русском городском фольклоре много лет было представлено разваливающимся «Запорожцем». А непобедимое начало – бандитским «Мерседесом-600», в зад которому «Запорожец» врезался на перекрестке, после чего и начинался новорусский дискурс. В чем символическое значение перекрестка, объяснять не надо – это и крест Господень, и распутье, и роза ветров... Есть много причин, по которым народная душа вступает в брак с собою именно на перекрестке. Это надо раздвинуть?

Иногда Мюс все же употребляла кальки с английского.

– Нет, не надо, – сказал Степа. Про символический брак он слушать не хотел – слова «бандит», «зад» и «дискурс» в одном предложении не особо радовали. Дело было в том, что попытки Мюс объяснить ему смысл слова «дискурс» не увенчались успехом, и единственная ассоциация, которая у него каждый раз возникала, была с болгарским словом «кур», аналогом великого русского трехбуквенника, отчего «дискурс» казался чем-то вроде дисконтного пениса из Болгарии. Из-за этого смысл фразы делался грозно-многозначительным.

– Важно здесь то, что сегодня этот символический брак происходит в новой форме.

Социологи еще ничего не поняли, а фольклор уже отразил случившуюся перемену. Она видна в анекдоте про шестисотый «Мерседес» и черную «Волгу». Как следует из его анализа, оба исконных начала – лоховатое и непобедимо-могучее – получили в народной ментальности новые репрезентации. Эта революция в сознании и есть парадигматический сдвиг. Я понятно говорю?

– Нормально, – сказал Степа. – А что за анекдот такой?

– Ну как же, – ответила Мюс. – Шестисотый «Мерседес» врезается на перекрестке в зад черной «Волге» с тонированными стеклами. Бандит выскакивает из «Мерседеса», начинает прикладом крушить стекла в «Волге» и видит в ней полковника ФСБ. «Товарищ полковник, я все стучу, стучу, а вы не открываете... Куда деньги заносить?»

Степа не засмеялся, а наоборот, сразу пригорюнился. Мюс добавила:

– И чем этот анекдот особенно интересен, это тем, что других после него уже не предвидится. Он, так сказать, один на всех, как победа.

– Какой же это анекдот, – вздохнул Степа. – Это жизнь...

Он и сам всей кожей чувствовал ветер перемен, хоть и не мог найти для его описания таких замечательных слов, какие были у Мюс.

Жизнь менялась. Бандиты исчезали из бизнеса, как крысы, которые куда-то уходят перед надвигающимся стихийным бедствием. По инерции они все еще разруливали по дорогам на вульгарно дорогих машинах и нюхали героин в своих барочных дворцах, но все чаще на важную стрелку с обеих сторон приезжали люди с погонами, которые как бы в шутку отдавали друг другу честь при встрече – отчего делалось неясно, можно ли вообще называть такое мероприятие стрелкой. Степу эти веяния пока что не затрагивали. И вдруг ясным апрельским утром к нему прямо в офис завалилась крыша – страшные братья Иса и Муса.

Степа сразу понял – что-то не так. Иса и Муса пришли без звонка, и вид у них был тревожный. Оба были небриты, и если это шло молодому волку Мусе, то плэйбой Иса не выигрывал от седой щетины на подбородке совершенно. Она делала его похожим на пожилого пастуха, который нашел клубный пиджак среди обломков разбившегося в горах самолета. Кроме того, от братьев пахло потом – похоже, они не мылись уже несколько дней.

– Пойдешь с нами, Степа, – сказал Иса.

В его голосе звучал такой спокойный фатализм по отношению к чужой судьбе, что Степа только в машине понял, что мог бы, наверно, и отказаться. Или не мог? Гадать об этом было поздно – братья посадили его на переднее сиденье, сами сели на заднее и велели шоферу ехать в центр. Всю дорогу они тихо о чем-то спорили, продолжая начатый раньше разговор. Степа изо всех сил вслушивался в беседу, пытаясь догадаться, что его ждет и какие у братьев планы. Но об этом не было сказано ни слова. Он мало что понимал по словам, которые долетали до него сквозь шум движения. Иса говорил:

– Не позорь наш род, брат. Ты чечен, какой дзогчен? Нюхай их кокаин, порти их женщин, вали их мужчин. Но не ищи ничего в их душах, им туда шайтан насрал. Чего тебе в исламе не хватает?

– Говорят, – ответил Муса, – в конце этого пути можно стать радугой. А в конце твоего пути, Иса, становишься просто трупом. Ни один суфий не научит тебя стать радугой.

– Ай, радуга! – воскликнул Иса. – Я все про это знаю. Почему ты думаешь, что твой брат такой дурак? Чтобы стать радугой, надо всю жизнь сидеть в вонючей пещере. И то неизвестно, получится у тебя или нет – никто не видел ни одного человека, у которого это получилось, все видели только радугу. Ты говоришь, в исламе нет радужного тела. Это так, да. Я тебе больше скажу. В исламе нет астрального тела, нет ментального тела, нет эфирного, нет кефирного, профсоюзного и так далее. Всего этого нет. Но зато у нас есть шрапнельно-осколочное тело,

которого нет ни у буддистов, ни у христиан, ни у кого. И его, брат, можно достичь всегда, даже с похмелья или на самом страшном кумаре. По милости Аллаха его можно обрести за пять минут, нужно только четыре кило хорошего пластита и три кило стальных шариков. И детонатор, понятное дело. И не надо сидеть всю жизнь в вонючей пещере, бормоча какие-то заклинания. Быстро! Красиво! А природа у этих тел все равно одна и та же!

– Это почему? – спросил Муса.

– Да потому, что другой вообще не бывает.

– Не понимаю.

– Если ты этого не понимаешь, брат, как же ты тогда собираешься стать радугой?

Иса довольно засмеялся. Муса погрузился в глубокую думу. Иса время от времени говорил шоферу, куда поворачивать, и вскоре машина выехала на Тверскую.

– Куда едем-то? – задал Степа мучивший его вопрос.

– На стрелку, куда ж еще, – ответил Иса.

– А с кем?

– Да с одним фраером из ФСБ. Говорит, у него сразу к нам троим дело.

– А мне обязательно присутствовать? – осторожно спросил Степа. – Я же в этих делах не того... Может, вы между собой вопрос решите?

Иса пожал плечами.

– Я-то не против. Но этот, из ФСБ, настаивал. Говорил, документ какой-то подписать надо.

Все уже подписали, только мы остались.

– А кто это такой? – спросил Степа.

– Какой-то капитан Лебедкин.

– Я такого не знаю.

– Я тоже, – ответил Иса. – Зато он нас знает. Вот и познакомимся, время такое, что лучше дружить. Тормозни-ка у перехода, дальше пешком дойдем. Тут близко.

Последние слова были адресованы шоферу. Машина остановилась.

Степа поглядел в окно. Они находились на Тверской возле площади Белорусского вокзала. На улице была весна. Ярко синело свежeweымытое небо, и даже асфальт лучился какой-то непонятной пыльной радостью. Но Степе совсем не хотелось вылезать из машины навстречу этому великолепию. Больше того, если бы в полу машины был люк, а под этим люком другой, канализационный, то Степа горлумом перелез бы из солнечного апрельского дня в темное подземное зловоние. И вовсе не из верности идеалам «Санбанка». Ему было страшно.

Сзади хлопнула дверь.

– Выходи, приехали, – позвал с улицы Иса.

Когда они спустились в подземный переход, Иса весело объяснил, что выходить из машины перед стрелкой следует не меньше чем за сто метров от места встречи, и приближаться к нему надо рассредоточившись – «чтобы не поставили на фугас», как он выразился. После этих слов Степа несколько секунд боролся с позорным желанием отойти в сторону, снять штаны и присесть прямо между лотков с криминальными романами. Он никогда раньше не ездил на стрелку, и у него было дурное предчувствие. Но братья, казалось, совсем не были озабочены происходящим – Муса думал о чем-то своем, а Иса насвистывал, зорко поглядывая по сторонам.

– Куда идем? – поинтересовался Степа, когда они поднялись на поверхность с другой стороны Тверской.

– Уже пришли почти. Тут рядом, ресторан «Якитория».

Степа помнил из статьи в каком-то журнале, что слово «Якитория» значит по-японски что-то вроде «шашлычная».

«Вот и пустят на шашлыки, – подумал он. – Прямо сейчас».

Степа никогда не бывал в этом ресторане. Маленький зал с открытой кухней в центре напоминал формой букву «П». Кухню отделяла от остального помещения невысокая стенка-аквариум. За ней стояли два повара – пепельно-бледный кореец со шрамом на лбу, который резал рыбу и ловко лепил рисовые колобки, и его помощник, блондин в темных очках, который рубил водоросли большим ножом-сечкой. Зал оказался пуст, только в одном углу закусьвала компания спортсменов блатного вида. Их было пять человек, и один сидел за торцом стола, занимая большим телом в тренировочном костюме весь проход.

Покосившись на них, Иса прошел в противоположный конец зала и сел у стойки, лицом к кухне. Муса вместе со Степой молча сели по бокам от него. Степа догадался, что Иса выбрал позицию таким образом, чтобы аквариум с золотыми рыбками закрывал их от спортивной компании. Кроме того, он предположил, что Иса сел за узкую и неудобную стойку потому, что из-за нее легче будет выскочить в случае опасности. Степа чувствовал себя суровым и опытным воином, только чуть тряслись руки.

Иса сделал заказ – три больших набора суши и саке. Саке принесли сразу, и все трое чокнулись.

– А как он хоть выглядит, этот Лебедкин? – прошептал Степа.

– Не знаю, – сказал Иса.

– За тем столом его случайно нет?

– Послушай, ну как я могу знать, есть он за тем столом или нет, если я его никогда не видел? Сам нас найдет.

Степа понял, что проявляет излишнюю суетливость, и погрузился в молчание. Братья тоже молчали – Муса все так же напряженно думал, а Иса с легкой улыбкой перебирал янтарные четки.

Прямо перед Степиным лицом была прозрачная стенка аквариума, над которым маячили головы поваров. Пепельный кореец работал, не отрывая глаз от стола. Блондин-подмастерье приветливо улыбнулся Степе.

«Знал бы ты, дурень, зачем мы здесь сидим, – подумал Степа, – в штаны б насрал».

В желтоватой воде перед Степиными глазами висела большая золотая рыбка с раздвоенным хвостом – покачивая плавниками, она загадочно глядела на Степу круглым глазом-кнопкой. Сквозь аквариум была видна разделочная доска, на которой руки повара нарезали одинаковые ломтики лосося. Степа подумал, что в самый раз было бы попросить о чем-нибудь золотую рыбку.

«Рыбка, рыбка, – неслышно прошептал он, – сделай так, чтобы я ушел отсюда живой и здоровый... Эх, любые деньги отдал бы».

Рыбка махнула хвостом и отвернулась.

«Ну и жизнь у нее, – подумал Степа. – С одной стороны доска, где таких, как ты, разделявают. С другой стороны стойка, где таких как ты едят. Куда ни погляди, или то, или это. У рыб память – три минуты. Но даже это, наверно, не спасает, потому что с одной стороны все время режут, а с другой все время едят. Все как у людей. Плавает посередине, мечет свою икорку и надеется, что дети будут жить лучше... А я еще о чем-то ее прошу».

– Эй, на кухне, поживее можно? – позвал один из спортсменов. – Уже сорок минут салат ждем.

Блондин кивнул, чуть сторбился и принялся резать свои водоросли быстрее.

– Иними очки, дятел, а то не ту морковку нам нарежешь, – сказал другой спортсмен.

Остальные засмеялись. Ассистент повара действительно стучал своей сечкой по доске

часто, как дятел, так что сравнение вышло точным.

Иса поглядел на часы.

– Опаздывает, – сказал он. – Занятый, наверно, очень.

Муса тоже поглядел на часы.

– Ты про кого, – спросил он, – про поваров? Или про того, кого мы ждем?

– Как тебе хочется, – ответил Иса. – Можно про того, кого мы ждем. А можно про поваров.

Эти слова, видимо, сдвинули думу Мусы с мертвой точки.

– Слушай, брат, – сказал он, – а что это за природа?

– Ты о чем? – спросил Иса.

– Ну ты в машине говорил, что у шрапнельно-осколочного тела такая же природа, как у радужного. А что это за природа?

– Тебе про это лучше не спрашивать, брат, – нахмурился Иса.

– Почему?

– Ты к этому еще не готов.

– Как не готов?

– А так. Был бы готов, не спрашивал бы.

– Так ты можешь ответить или нет?

– Могу. Но если ты увидишь эту природу, ты потом не захочешь смотреть ни на что другое.

– И хорошо. Объясни.

– Лучше не торопись, брат.

– Нет, Иса, не увливай. Говори. Я хочу знать.

– Я последний раз тебя как брат прошу, – сказал Иса, – перестань.

– Та-а, – махнул рукой Муса. – Голову мне дуришь. Ты сам не знаешь.

– Я не знаю? – вскипел Иса и ударил кулаком по стойке так, что графинчик sake опрокинулся. – Я знаю!

– Тогда объясни. Я как мужчина и воин за свой базар отвечаю!

И Муса тоже ударил кулаком по стойке.

Глаза Исы превратились в две узких щелочки.

– Ну что же, – сказал он. – Ты сам попросил. Смотри теперь внимательно! Не пропусти!

Он поднялся на ноги и сдвинул в сторону два ближайших столика, опрокинув при этом несколько стульев. Встав в центре образовавшейся пустоты, он сложил руки в районе паха и легко закружился на месте, поднимая их вдоль туловища. Степа не успел налюбоваться на этот странный танец – Иса сделал всего несколько поворотов.

Когда его руки оказались на уровне груди, у Степы над головой грохнул удар такой ошеломляющей силы, что он сразу же перестал бояться чего бы то ни было.

Второй выстрел, раздавшийся следом, показался оглохшему Степе негромким – словно где-то рядом с ухом разорвали кусок ткани. Иса больше не кружился, а сползал вниз по стене, оставляя за собой широкий кровавый след.

Третий и четвертый выстрелы Степа не столько услышал, сколько ощутил и увидел – ему на ноги хлынул холодный водопад из выбитой секции аквариума, а Муса, который поднимался с соседнего стула, пытаясь вытащить руку из кармана, оказался лежащим у стены рядом с Исой в уютной позе эмбриона.

Вокруг братьев стала растекаться по полу общая темная лужа. Возле разжавшегося кулака Мусы в ней плавал маленький пластиковый кружок, в котором Степа опознал тысячедолларовую фишку из казино.

Стало тихо. Степа услышал, как на пол льется вода. Он поднял глаза. Там, где только что плавала золотая рыбка, теперь была прямоугольная пробоина – выстрелами выбило всю

метровую секцию аквариума. За ней стоял ассистент повара в темных очках, сжимая в руках помповое ружье необычайно большого калибра. Самого повара видно не было – наверно, упал на пол.

За столиком, где сидели спортсмены, кто-то охнул.

– Всем сидеть! – крикнул ассистент и махнул стволом. – Спокойно! Джедай бизнес!

Степа смотрел «Звездные Войны», и догадался, что страшного больше не будет. А в следующий момент он почувствовал, что у него на коленях что-то трепыхается. В ложбинке между его мокрых ног, рядом с прядью водорослей и куском пластика, лежала золотая рыбка. Он протянул к ней руку.

– Руки на стойку! – заорал ассистент повара.

– Тут рыбка, – сказал Степа, поспешно выполняя приказ.

Почему-то эти слова произвели на ассистента впечатление. Он перегнулся через стойку и посмотрел Степе на ноги.

– Верно, рыбка, – сказал он. – Вот попала, а? Сейчас что-нибудь придумаем...

Он огляделся по сторонам, но, видимо, не увидел ничего подходящего. Тогда он положил ружье на разделочную доску, поднырнул под стойкой и подошел к столу, за которым сидела парализованная компания. Взяв лаковую ладью, в которой подавался парадный набор суши, он вывалил ее содержимое на голову спортсмену, который пошутил насчет морковки. Тот покорно дернулся на месте, даже не закрывшись руками. Ассистент повара вернулся на кухню и налил в ладью воды из-под крана.

– Давай, – сказал он, ставя ладью на стойку перед Степой.

Степа со второй попытки подхватил рыбку в ладонь и пустил в ладью. Нервно вильнув хвостом, рыбка доплыла сначала до одного конца своей новой вселенной, потом до другого, и замерла на месте. Ассистент поглядел вниз, туда, где до сих пор прятался повар-кореец.

– Слышь, любимый руководитель, – сказал он, – ты это, пусти ее потом в аквариум. А то я не пойму, как он у вас открывается...

Степа закрыл глаза.

Когда через минуту или две он немного пришел в себя и решил снова открыть их, в зале были новые посетители – трое в военной форме, еще двое в штатском. Растерянных спортсменов уже выгнали на улицу, даже не дав им забрать вещи – на окне осталась ярко-желтая теннисная сумка. Степа увидел, как ассистент повара поднимает руку с оттопыренным большим пальцем, затем медленно поворачивает палец вниз. Ему кивнул майор с петлицами войск связи, который, кажется, был у прибывших за главного. Другой офицер надел на руку прозрачный пластиковый пакет, присел на пол возле трупа Исы и откинул в стороны опаленные полы пиджака.

На черной от крови рубашке было что-то вроде упряжи, из которой торчали два вороненых пистолета, похожих на «кольты», только больше размером. Степа понял, что это и есть знаменитые «Стечкины», стреляющие очередями убивальники, из-за которых о братьях ходила такая мрачная слава.

– Те самые, отвечаю, – сказал пожилой мужчина в штатском. – Срочно на баллистическую.

Степа почувствовал, как кто-то трогает его за локоть. Рядом стоял стрелок в черных очках.

– Поговорим? – спросил он.

– Трудно отказаться, – ответил Степа, вставая.

Они устроились за столом у окна, там, где раньше сидели спортсмены. Степа сначала сложил пальцы в замок, но все равно было видно, что руки дрожат. Тогда он спрятал их под стол.

– Тебя я знаю, Степан Аркадьевич. Уже давно, – сказал блондин. – А я – скромный джедай Леонид Лебедин. Можно просто Леон. Четвертое главное управление ФСБ по борьбе с

финансовым терроризмом.

«Четвертое, – быстро подумал Степа, – это скорее ближе к „тридцать четвертое“, чем к „сорок третье“. Потому что одно слово целиком совпадает. Но, с другой стороны, начинается-то с четырех! Неясно».

– Как так может быть, – спросил он, – четвертое главное? Что их, четыре главных?

Лебедкин засмеялся.

У него была удивительная манера смеяться, которая сразу запоминалась навсегда. Сначала смех звучал искренне и заразительно, а улыбка делала курносое лицо капитана таким симпатичным, что вспоминались романтические летчики из первых советских фильмов. Но на последних двух или трех тактах, когда смех затихал, в нем прорезалось что-то пронзительное, звонко-взвизгивающее и дребезжаще-злое – словно долетало эхо какого-то похожего по тембру, но не имеющего отношения к веселью звука. Этот звук был жуток, хотя Степа не мог сказать точно, что это такое – то ли стон, то ли вой лагерной суки, то ли визг тормозов. К тому же лицо смеющегося Лебедкина запрокидывалось вверх, и из-под темных стекол вдруг обжигали холодом два бледно-голубых внимательных глаза...

– Я объясню, – сказал он. – Вот смотри, с одной стороны, оно как бы четвертое. А с другой – для них, – он кивнул в сторону трупов, – оказалось самое главное, какое только бывает. Понял, нет?

Аргумент был простой и хрустально-ясный, Степа оценил его сразу.

– Понял, да, – сказал он. – Так это вы нам эту стрелку...

– Можно и на ты, – перебил Лебедкин. – Чего мы с тобой, старперы, что ли?

– Так это ты нам эту стрелку назначил?

– Я назначил. Только не тебе, а им.

– А они сказали, что вы... То есть ты... Что ты всем троим велел прийти.

– Ты больше абреков слушай, – сказал Лебедкин. – Запомни, все чеченские крыши берут своих коммерсантов на стрелки в качестве живого щита. А пятьдесят процентов московских коммерсантов, которые побывали под крышей у чеченов, вообще кастрированы. Такой у них обычай. Ты про это знаешь?

Степа отрицательно помотал головой.

– И неудивительно. Кто ж в таком признается. Так что я тебе сегодня, можешь считать, жизнь спас, и не только жизнь, а еще кое-что на бонус, понял, нет? А то, что они тебе говорили... Разводить они умеют, не ссы.

– Обязательно надо было их убивать? – спросил Степа.

– Ты, я вижу, так ничего не понял. Ты хоть знаешь, кто был этот Иса?

– Кто?

Лебедкин наклонился к Степе, и тот снова увидел его холодные голубые глаза, в этот раз над стеклами.

– Вращающийся дервиш смерти.

– А что это?

– Есть такой орден вращающихся дервишей, с центром в турецком городе Конья. Они типа вращаются на месте и входят в особый мистический транс. В общем, мирные люди. Но не все. Несколько человек из ордена перебежали к Усаме бен Ладену и основали новую школу огнестрельного боя. Знаешь, есть стрельба по-македонски?

Степа кивнул.

– А это называется стрельба по-кандагарски. Такой дервиш, короче, начинает крутиться, входит в транс, вынимает стволы, руки в стороны... А дальше все как в страшном сне. Хорошо, если у него, к примеру, два «Кольта» или там «Глока». Это еще уйти можно, если повезет. А

если два «Узи» или «АгрANA», в радиусе сто метров хана всему, что шевелится и думает. Понял, нет?

Лебедкин взъерошил ладонью волосы.

– Этот, – сказал он, кивая в угол, где лежал Иса, – у них вообще был что-то вроде сэнсея. Про него легенды ходили. Пел стихи Джалалиддина Руми и хуячил из двух стволов не глядя, как швейная машина. Ни одна пуля зря не уходила. Страшный человек. Да что я тебе говорю. От него сам Саша Македонский как заяц бегал, когда Даниловский рынок делили. Правда, Михалыч?

Майор связи, который прислушивался к разговору, утвердительно кивнул.

– Так он что, – спросил Степа, – стрелять собирался?

– А ты думал. Он уже руки к груди поднял, еще секунда, и здесь все в дырах было бы.

Майор сел рядом с Лебедкиным и положил на стол черную папку с маленьким латунным замком. Степа посмотрел в его равнодушное, как у каменной бабы, лицо и вздохнул.

– Неужели нельзя было... Ну, договориться?

– Договориться? Хе-хе-хе-хе... Михалыч, он нам не верит. Покажи ему.

Майор открыл папку и вынул из нее лист бумаги с картинкой, похожей на фотографию луны в телескоп.

– Что это?

– Спутниковая съемка. Тренировочный лагерь суфийского диверсионно-штурмового батальона вращающихся смертников под Кандагаром. Вот в этом кружке – видишь, пипочка в центре? – палатка Исы и Мусы Джулаевых. Снимок сделан в момент, когда Иса говорит по спутниковому телефону с передвижным заводом по производству рицина в Панкисском ущелье. Понял, нет?

– Понял.

– Видишь в углу снимка цифры? Четырнадцать тридцать пять, шестое августа. Это чтоб сомнений не было. У нас и разговор записан, будь уверен.

– Круто, – сказал Степа.

– И ты таким людям платишь, Степан Аркадьевич. Как же так?

Степа виновато развел руками.

– Я не знал, – сказал он. – Откуда мне было знать, что они эти... вращающиеся финансовые террористы.

Лебедкин опять засмеялся, и Степе снова стало не по себе.

– Нет, Степан Аркадьевич, – сказал Лебедкин. – Финансовые террористы не они. Финансовый террорист у нас ты.

– Это как?

– А так. Подумай.

Степа начал думать. Ясность в уме наступила довольно быстро.

– Ага, – сказал он. – Ага... Кажется, понимаю. Я ведь правильно понял?

– Правильно, – кивнул Лебедкин.

– И как теперь, если да?

Лебедкин поглядел на майора связи.

– Ну как на такого парня злиться. Правильно сказал русский классик, «быть можно дельным человеком, ни разу срока не мотав».

– Там не так, – сказал майор связи. – Там кончается «ни разу зону не топтав».

Возникла пауза. Степа заметил, что у него почти полностью восстановился слух. Он слышал доносящийся с улицы шум машин. Детский голос прокричал «Дура! Не хочу!». Где-то далеко-далеко гудел самолет.

– Ну что, простим на первый раз? – спросил наконец Лебедкин.

Майор почесал голову.

– Простим, – сказал он. – Если перестанет терроризмом заниматься.

– Слышал, Степан Аркадьевич? – строго глянул на Степу Лебедкин. – Чтоб больше никакого терроризма у нас не было. Я не шучу.

– Понимаю, – скромно сказал Степа. – Постараюсь. Научите жить по-новому.

– Встречаться будем раз в месяц, – сказал Лебедкин. – Как говорил государь Александр Павлович, при мне все будет как при бабушке. А как при бабушке было, я видел в дырочку, хе-хе-хе-хе... Так что расслабься, Степан Аркадьевич, расслабься. Business as usual. Я, как тебя увидел, сразу понял, что ты к этим говнюкам никакого отношения не имеешь. Так что, если проблемы будут, с законом или наоборот, звони. Вот мой мобильный.

Лебедкин уронил на стол маленькую карточку.

– Вроде все у нас? – спросил он дружелюбно.

Степа кивнул.

Лебедкин взял папку, из которой перед этим вынырнула спутниковая фотография, и вынул из нее другой лист.

– Тогда подпиши, – сказал он, кладя его перед Степой. – Чтобы я в арбитраж мог пойти в случае чего, хе-хе-хе-хе...

Степа поглядел на стол. Перед ним лежал гербовый бланк с коротким печатным текстом:

Меморандум о намерениях

Я, Михайлов Степан Аркадьевич, все понял.

Подпись:

Степа хотел было спросить, каким образом у Лебедкина оказался с собой лист с его впечатанным именем, если он действительно не приглашал его на встречу. Но он не задал вопроса. Отчасти потому, что не хотел лишний раз услышать странный смех капитана. А отчасти потому, что такой поступок вошел бы в противоречие с духом меморандума о намерениях, показывая, что он чего-то до сих пор не понял. А ясно было все. Он вздохнул, поглядел на стойку, где так и стояла лаковая лодка (отчего-то показавшаяся похожей на чеченскую погребальную ладью), и вынул из кармана перьевой «Mont-blanc».

Бойня в «Якитории» наполнила Степину душу ужасом и омерзением, которые любой нормальный человек испытывает от близости насильственной смерти. Несмотря на это, он вынырнул из кровавой купели полный сил и оптимизма. Причина была простой: смена крыши произошла третьего апреля, то есть третьего числа четвертого месяца. Яснее число «34», наверно, не могло себя явить, разве что воплотиться в мессии с тремя ногами и четырьмя руками. Поэтому добравшийся наконец до него парадигматический сдвиг вызвал в Степе то же восторженное чувство, которое поэт Маяковский в свое время выразил в словах: «Сомнений не было – моя революция!».

Новое пришло к Степе с большим опозданием. Постоянная близость Исы и Мусы мешала поверить в реальность происходящих в стране перемен. Теперь, когда главную занозу вынули из мозга, горизонт показался безоблачно-чистым. Но сомнение все равно мелькнуло на дне души: Степа помнил, что за границей при написании даты сначала ставят месяц, а потом уже число, и тогда выходило, что жизнь по новым порядкам сулит ему самое настоящее «43». Но с этой мыслью жить было нельзя, и Степа не хотел даже начинать ее думать.

Ветер смерти, подувший совсем рядом, временно сделал его смелым человеком – он понял, что боялся не того, чего следовало, и, как часто бывает, до следующего сильного испуга перестал бояться чего бы то ни было вообще. Этим и объяснялся тот безрассудный привет, который он послал новой эпохе. У Мюс был знакомый рекламщик, которого она называла «циничным специалистом» и очень хвалила в профессиональном смысле. Степа проплатил рекламную плоскость на Рублевском шоссе, как раз в том месте, к которому выводила тропинка с его дачи. На этой плоскости поместили огромную эмблему ФСБ – щит и меч – и придуманный специалистом текст: «ЩИТ HAPPENS!»^[3]

Через несколько дней ему позвонил Лебедин.

– Слушай, – сказал он, – я тут по Рублевке проезжал. Где твоя наружка стоит... Насчет картинки все ништяк. Вот только текст какой-то...

– А что такое? – спросил Степа.

– Ты закон о языке знаешь? Ну вот. Чтоб это английское слово убрал на хуй. Что у нас русских мало? Подумай, Степа, подумай. Картинку не трогай, а надпись подлечи. Понял, нет?

Степа понял. Пришлось снова обратиться к циничному специалисту. Тот придумал новый слоган, которым заклеили старый: «Все БАБЫ суки!» Этот вариант Лебедину понравился гораздо больше.

– Вот! – сказал он, позвонив прямо с Рублевки. – Чувствуется человек, небезразличный к судьбам страны и мира. Не зря я тебе жизнь спас, Степа...

Самое интересное, что Лебедин говорил сущую правду. Он действительно спас Степину жизнь.

Бизнес шел совсем не так гладко, как в дни, когда Степе исполнилось солнечное число лет. Сложности, начавшиеся после кризиса, не уходили, а все накапливались, постепенно сгущаясь в непробиваемую стену напротив его лба. Это тоже в некотором роде было связано с парадигматическим сдвигом.

В финансовом пространстве России оседала муть, в которой раньше могли кормиться небольшие хищники вроде «Санбанка». Все становилось прозрачным и понятным. Серьезные денежные реки, попетляв по Среднерусской возвышенности, заворачивали к черным дырам, о которых не принято было говорить в хорошем обществе по причинам, о которых тоже не принято было говорить в хорошем обществе. Степин бизнес в число этих черных дыр не попал по причинам, о которых в хорошем обществе говорить было не принято, так что Степа постепенно начинал ненавидеть это хорошее общество, где всем все ясно, но ни о чем нельзя сказать вслух. Он даже переставал иногда понимать, что, собственно говоря, в этом обществе такого хорошего.

Но волновали его не столько общественные проблемы, сколько профессиональные. А они заключались в том, что мелкие банки вымирали. Здравый смысл подсказывал, что это когда-нибудь может произойти и с опорой священного числа – «Санбанком», – но защитные механизмы Степиной психики не пропускали это понимание в область осознанного, что приводило к ночным кошмарам и дневным депрессиям.

Банкиры Степиного калибра решали проблему, ложась под крупные фирмы реального сектора. Они становились так называемыми «карманными банками». Перейдя на обслуживание одного главного клиента, они повисали в его финансовом потоке, как пловец, гребущий навстречу струе воды в бассейне с джет-тренажером. При этом они могли по-прежнему заниматься другими операциями, просто у них появлялась опора. Степа давно мечтал о таком варианте, но его пронзительная чеченская крыша, наследие эпохи первоначального накопления, отпугивала возможных партнеров. К сожалению, эту проблему было сложно объяснить Мусе с Исой. Степе достаточно было представить контуры будущего разговора (выражение удивления

на небритом лице Мусы, сменяющееся недоверием, а потом гневом), чтобы у него пропало желание предпринимать хоть что-то.

Но стоило его крыше потерять свой острый национальный колорит, как подходящий партнер нашелся сам. Через пару месяцев после знакомства с Лебедкиным на Степу вышли люди, представлявшие русско-французскую нефтяную фирму «Ойл Эве». Она была зарегистрирована на территории Эвенкского национального округа (налоговая льгота, сразу понял Степа), а ее центральный офис находился в Париже (красное и белое, как говорил великий Стендаль). Они предложили Степе именно тот вариант, о котором он мечтал уже давно, – превратиться в «карманный банк» (такая операция на европейской банковской фене назвалась «merder» – гибрид слов «merger» и «tender»).

Степа проанализировал название «Ойл Эве». Первое слово состояло из трех букв. Второе – тоже из трех. Это походило на неустойчивое равновесие. Степа истолковал свои ощущения следующим образом – благоприятным или неблагоприятным союз станет в зависимости от его действий. Возражений со стороны чисел не предвиделось.

Была только одна проблема. О фирме «Ойл Эве» никто ничего толком не знал, из чего следовало, что это какая-то подставная структура. Степа сразу понял, в чем дело. Это был *семейный бизнес*. Такой внезапный и высокий взлет вызывал приятную щекотку под ложечкой. Условия, которые предложили загадочные нефтяники, заставляли вспомнить о божественной любви, бесконечном милосердии и Махатме Ганди. Они даже брали на себя часть долгов, которые, если честно, у Степы к этому времени уже имелись. Им просто нужен был свой банк в Москве, на счет которого можно было бы перекачивать деньги из Парижа, хотя Степа не очень понимал, зачем им понадобилось идти против мирового порядка вещей – все стремились делать прямо обратное, уводя деньги из России как можно тише и дальше. Но ничего незаконного, как Степа ни вглядывался, во всем этом не было.

Единственное условие, которое он поставил новым партнерам, заключалось в том, чтобы они не меняли названия банка. Они согласились. Степа не верил, что его главная проблема решилась так просто вплоть до момента, когда все требуемые бумаги были подписаны. Когда он наконец в этом убедился, он позволил себе забыть о делах и расслабиться на целых тридцать четыре дня. Именно в это время и произошли события, превратившие его дружбу с Мюс в роман.

В сезон слива компроматов несколько московских таблоидов напечатали телефонный разговор Степы с неидентифицированным собеседником, которого он называл «дядя Борь». Разговор публиковался как компромат исключительно по той причине, что Степа матерился через каждое слово. Текст в газетах выглядел так:

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Меня вообще ломают такие названия, дядя Борь. Что это такое: вилла „Лук Эрота“, павильон „Раковина Венеры“, пансион „Тс-с-с“. Мне как потребителю не нравится. Вводят в заблуждение».

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Да потому что там ни х#я такого не будет».

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Как честно? А вот так: агентство „Пи#да за деньги“, клуб „Разводка х#я“. Или салон „Бл#ди раком“».

Собеседник: (неразборчиво)

Степа: «Да какая чистота языка. Они просто хотят торговать пи#дой вразвес, а числиться купидонами. Вот и весь х#й, дядя Борь».

Степин имидж не пострадал от этой публикации совершенно. Наоборот, скандал придал ему респектабельности. Раньше у него был не тот статус, чтобы московские таблоиды подавали распечатки его разговоров в качестве острого блюда. Акулы покрупнее презрительно называли таких, как он, «карманниками» – конечно, имея в виду не карманное воровство, а «карманный банк». И прослушивали в тот раз не его, а собеседника. Но собеседник применил хай-тек примочку, которой не было у ФСБ, и все, что он говорил, не прописалось на пленке. Поэтому, чтобы хоть чем-то порадовать читателя, распечатали Степу, после чего он на целый месяц попал в список «сто ведущих политиков России».

Его даже сравнили пару раз с Жириновским. Степе это было приятно – Жириновский был единственным русским политиком, которого он уважал. Дело было не в политической платформе (про это в хорошем обществе не говорят), а в его высоком артистизме: разница между ним и остальными была такая же, как между актрисами-одногодками, одна из которых все еще пытается петь, а другие, уже не скрываясь, живут проституцией.

Кроме того, смущенные сотрудники «Санбанка» получили некоторое представление об интимной жизни шефа.

Большинство женщин в Степиной жизни были профессионалками – они появлялись из специальных агентств, стоили освежающе дорого, были дивно красивы и в конечном счете рождали в клиенте чувство, которое Степа однажды выразил в следующих словах: «Какая, если вдуматься, мерзость эта красота». Некоторые из них были моделями, то есть стояли в иерархии ступенью выше, поскольку, как язвительно говорил Степа, торговали не только телом, а еще и сделанными с него фотографиями. Были и профессионалки самого высокого ранга – актрисы, которые специализировались на фотографиях подразумеваемой души.

Степины отношения с ними обычно не выходили за рамки оговоренного контрактом и длились недолго. Степа проверял их на причастность к числам без особой веры в то, что среди них отыщется его избранница. Интуитивно он чувствовал, что их отношения с его тайным миром просты как мычание: чем больше нулей, тем лучше.

Встречая девушку, которая ему нравилась, Степа старался выяснить, что она знает о числах и что числа знают о ней. Но он никогда не спрашивал об этом прямо. Окольных путей было много. Обычно Степа отправлялся с новой подругой куда-нибудь на далекое море. Романтическая поездка на острова давала много возможностей приглядеться к другому человеку. Степа устраивал так, что тридцать четвертый и сорок третий номера в гостинице были свободны. Портье был заранее проинструктирован и проплачен – стоило все это, конечно, довольно дорого, но на своей судьбе он старался не экономить.

Первый тест выглядел так: на стойку ложился лист бумаги со списком свободных номеров, и Степа со словами «Выбирай, дорогая» передавал его подруге. В списке всегда было шесть вариантов, независимо от количества свободных мест в гостинице. Четыре были произвольными числами, которые представлялись Степе подобием пустых гнезд в барабане револьвера. Два гнезда были заряжены. Под влиянием наружной рекламы московских интернет-провайдеров Степа про себя называл этот аттракцион «летка.ru».

Если девушка выбирала сорок третий, дальнейшее развитие событий было неумолимым. Степа вынимал из кармана мобильный и имитировал тревожный разговор о делах. Выяснялось, что ему надо срочно навестить американского партнера по имени Доу Джонс, который упал с лестницы и сломал ногу. Девушке предлагалось подождать в гостинице день-два и ни в чем себе не отказывать. Сам Степа немедленно улетал чартерным рейсом, даже не попросив спутницу

последний раз протрубить в его рог.

Подруга проводила несколько дней в неге и роскоши, а затем возвращалась к своим баранам, начиная догадываться, что Степа уже никогда не станет одним из них. Можно было, конечно, устраивать все и дешевле, отшивая несчастную прямо у стойки, но Степа был галантен с карьерными девушками и не экономил на их простых радостях, понимая, что кроме быстро разрушающегося физиологического ресурса у бедняжек нет других активов, и их прогноз на длительную перспективу ничуть не лучше, чем у инвесторов, целиком вложившихся в интернет-проекты.

Если первый тест оказывался пройден, наступала очередь второго, такого же по сути, но иного по форме. Подруге предлагалось взять машину напрокат. Она отправлялась на стоянку выбрать автомобиль, который придется ей по душе, – ей надо было всего-навсего записать его номер. Вслед за вторым тестом шел третий – заполнение карточек лото. За ним четвертый, пятый и так далее – рано или поздно экзамен проваливали все, поэтому женщины не удерживались рядом со Степой дольше нескольких месяцев.

При этом набор его ожиданий, не связанных с числами, был довольно скромным. «She doesn't have to be a movie star»^[4], – тихонько напевал Степа вслед за Родом Стюартом, и действительно имел это в виду – ему достаточно было элементарной привлекательности. Он не ждал от избранницы, что она будет высокоточной секс-бомбой или бывшей шпагоглотательницей, перековавшей мечи на орал.

Но у него была одна маленькая стыдная тайна. Степа иногда страдал тем, что на языке уголовной медицины называется «расстройством в сфере влечения», а на бытовом языке не называется никак, потому что о таких вещах люди друг с другом не разговаривают. Впрочем, на извращение это не тянуло – так, пустячок, ничего глубокого или сверхчеловеческого. Эта его особенность давала о себе знать редко и, как правило, не причиняла его спутницам неудобств.

Временами, когда он чувствовал, что скоро не сможет, так сказать, удержать чашу наслаждения, не расплескав ее, Степа проделывал одно странное действие. Он быстро слезал на пол, садился на корточки спиной к партнерше и заводил согнутые руки как можно дальше назад, стараясь ткнуться локтями прямо в ямочку между ее ягодицами. Он делал это потому, что при взгляде на воображаемое сечение этой композиции получалось «тридцать четыре»: тройку давал контур женского зада, а четверку – его торс и выброшенные назад локти. Это был его способ слиться с любимым числом не только умственно, но и телесно: после этого движения Степе не нужна была никакая дополнительная стимуляция, чтобы чаша наслаждения опрокинулась прямо на пол (в особо знойных случаях – вместе с партнершей, а один раз было, что и вместе с кроватью).

Степа был в курсе, что коллеги капитана Лебедкина провели много часов в просмотрном зале, ломая голову над этой особенностью его личной жизни. Было непонятно, могут ли считаться компроматом видеопленки, на которых под разными углами заснят этот однообразный и несколько суетливый маневр. Выглядело это очень странно, да. Но, с другой стороны, в этом не было ничего предосудительного или попадающего под описание осуждаемых обществом секс-гешталтов. Во всяком случае, после моральной реабилитации онанизма, которую Мюс называла величайшим духовным завоеванием рыночной демократии. Поэтому Степа не переживал, считая, что трудно будет использовать против него такую ничтожную странность поведения в качестве компромата.

Вот если бы он имперсонировал в этой ситуации число «37», тогда можно было бы опасаться, что его позу истолкуют как нацистский салют, который его неудержимо тянет отдать сумрачной тени фюрера в момент оргазма. Это имело бы тяжелые последствия для банка, тут все было ясно на уровне корпоративной телепатии. А так – ну лыжник и лыжник, даже модно.

Кому какое дело? Другие и не такое вытворяют.

Степа знал, что женщинам несложно смириться с такой его особенностью, напомиравшей о себе в дни, когда он чувствовал смятение и неуверенность в себе. Только этого, как заметил поэт Арсений Тарковский, было мало. Девушка его мечты должна была не просто принимать его странности, она должна была разделять его... его... Степа даже не знал, как это назвать. Выражение «духовные запросы» не подходило – он ничего ни у кого не запрашивал, запрашивали чаще у него. «Интересы?» Тоже не годилось. «Религию?» Звучало слишком пафосно. «Суеверие?» Слишком презрительно и бескомпромиссно.

В общем, его спутница должна была чувствовать его душу, но не лезть в нее слишком далеко. Ей следовало знать о его отношениях с числами, но не все. Кроме того, она должна была быть вовлечена в магию чисел сама. Иначе Степа не смог бы довериться ей до конца – ему казалось бы, что она мирится ради денег с тем, что считает патологией и сумасшествием. Понятно, что найти такого человека было нелегко даже с его финансовыми возможностями, поэтому он сделался почти циничен. Женщины проходили по подиуму его души, не задерживаясь надолго, – покачивали бедрами, поправляли шляпки, улыбались, замирали на прощание в картинной позе и исчезали за кулисами, радуясь, если кроме денег им удавалось утащить чулки и пару туфель.

Мюс имела мало общего с этим типом связей. Ей было двадцать семь лет, что выходило за границы возрастной зоны от девятнадцати до двадцати пяти, в которой Степа подбирал своих нимфет. Общение с ней позволяло не только улучшить разговорный английский, но и расширяло его интеллектуальный горизонт. Мюс была эффектной спутницей – народ оглядывался на торчащие из ее прически «антенны». У нее была смешная привычка покусывать кончик карандаша, когда она над чем-нибудь задумывалась, и Степу волновали полоски помады на желтом карандашном лаке. Ритуал ухаживания, который обычно занимал у него около часа (ужин, коктейль, душ), в этом случае оказался очень необычным и даже сделал Степу духовно богаче.

Все случилось во время мероприятия, которое даже самый утонченный развратник не смог бы отнести к области возбуждающего чувственность. Это было заседание литературного семинара, где Мюс выступала с докладом на тему «Новорусский дискурс как симулякр социального конструкта». Мюс посещала эти заседания по профессиональным соображениям, а Степа отправился с ней просто из интереса, как мог бы пойти на женский рестлинг в жидкой грязи или петушиные бои под «Хорошо темперированный клавир». Кроме того, ему хотелось заглянуть в мир, где Мюс проводит свое время.

Семинар проходил в здании одного из московских вузов, и темные пещеры пустых коридоров, по которым Мюс провела его к месту, несколько раз заставили его пожалеть, что он оставил шофера-телохранителя в машине.

На второй минуте доклада он начал раскаиваться, что согласился на это приключение. В том, что говорила Мюс, он узнавал только слово «дискурс», относительно которого уже твердо для себя выяснил, что не в состоянии понять его смысл. Поэтому он перестал слушать и начал листать художественные журналы, которые стопками были разложены по партам – их принесли с собой собравшиеся на семинар. Сначала Степа взял альманах с ярко-оранжевой обложкой, раскрыл его наугад и прочел:

«Говоря о читателе и писателе, мы ни в коем случае не должны забывать о других важных элементах творческого четырехугольника, а именно чесателе и питателе...»

Помотав головой, как вылезшая из воды собака, Степа перелистнул несколько страниц.

«...встречаются фразы, каждой из которых мог бы всю зиму питаться у себя в норке какой-нибудь мелкий литературный недотыкомзер, – например, такое вот: „на дворе стоял конец горбачевской оттепели“».

Было непонятно, что особенного в этой фразе, и почему мелкий литературный недотыкомзер должен питаться ею всю зиму. Вместо того чтобы разделить сарказм автора, Степа вспомнил горбачевские времена, когда «Санбанк» делал первые шаги в клубах конопляного дыма, к которому еще не успел примешаться пороховой.

«Действительно ведь была оттепель, – подумал он с ностальгией, – а мы не понимали».

И ему до слез стало жалко свою растраченную юность, а заодно и неведомого недотыкомзера, которому нечем было закусить в зимней норке, кроме сырого повествовательного предложения.

Через несколько страниц после недотыкомзера в альманахе размещалась большая поэма какого-то уголовного авторитета, посвященная, как следовало из предисловия, могуществу человеческого разума, которое автор со свежей силой осознал во время одного из своих таежных побегов. Она так и называлась – «Человек», и начиналась со строки:

Я развел и лису, и медведя, и волка.

Степа не смог читать дальше – ему представился голый Березовский с калькулятором в руке, озаренный прыгающим светом костра.

Отложив альманах, он принялся за журналы. Под их обложками догорал закат эпохи, которая представлялась современникам такой бесчеловечно-жесточкой и хищной, а была на самом деле такой наивной, жалкой и простодушной – как всегда в истории. Это трогало, но все равно журналы были неудобоваримы, как серая бумага, на которой их печатали. Почти на каждой странице в них упоминались какие-то «эстеты» и «высоколобые интеллектуалы», которые презрительно морщились от чего-то одного и восторженно аплодировали чему-то другому. Степа вдруг понял (это было головокружительное умственное сальто), что собравшиеся в аудитории люди, похожие не то на рассредоточившуюся очередь за пивом, не то на участников спартакиады по зимним шахматам, и были теми эстетами и высоколобыми интеллектуалами, о которых шла речь.

«А ведь в эту самую минуту, – подумал он с эйфорией, которую вызывало в нем постижение тайн мироздания, – кто-то сидит и волнуется – что же скажут эстеты и высоколобые интеллектуалы? Будут восторженно аплодировать или нет?»

Занятнее остальных ему показался журнал «Царь Навухогорлоносор». Как следовало из аннотации, это был *«орган лингвистических нудистов, которые не признают лицемерных фиговых листков на прекрасном зверином теле русского языка»*. Журнал был малоинтересен, потому что его главным содержанием был мат, от обилия которого делалось скучно (хотя выражения вроде *«отъебись от меня на три хуя»* или *«иди ты на хуй и там погибни»* приятно удивляли, пробуждая надежду, что русский народ еще не сказал последнего слова в истории). Степа мат не любил и матерился только тогда, когда думал, что это полезно для бизнеса – как, например, в распечатанном таблоидами разговоре с «дядь Борей». Вокруг него тоже ругались мало. Исключением, пожалуй, был только капитан Лебедкин. Но в речи джедая мат воспринимался как элемент репрессивной государственной атрибутики, что-то вроде бряцанья служебной сабли.

В журнале были напечатаны отрывки из *«современного эквивалента „Божественной комедии“ Данте – первого русского романа, написанного на народном языке»* (*«Возле охуительного двухэтажного особняка, прятавшегося в тени старых лип, резко затормозил невъебенный „бугатти“ цвета маренго»*). Роман Степу тоже не заинтересовал.

Все эти поиски жанра компенсировались тем, что на последних страницах журнала был напечатан тест, который не имел прямого отношения к прекрасному звериному телу. Ознакомившись с ним, Степа понял, до какой степени смутные и эфемерные издания-однодневки ненавидят друг друга. Но тест был интересен и другим – похоже, он основывался на серьезном анализе работы человеческого мозга. Так следовало из вступления, где цитировалась научная работа:

«Как известно, базовым механизмом взаимодействия полушарий человеческого головного мозга является их функциональная асимметрия. Лауреат Нобелевской премии R. Sperry (1982) так обобщил результаты исследований функциональной асимметрии полушарий: „В каждом полушарии представлены свои функции. В левом – речь, письмо, счет. В правом – восприятие пространственных отношений и не идентифицируемое словами опознание. Каждое из полушарий имеет, по-видимому, отдельное «самосознание». На этом и строится наш двухэтапный тест на проверку их функционирования“».

Оба этапа, для левого и правого полушарий, были основаны на сравнении пар фотографий. Сначала шел тест для левого полушария. Читателю нужно было сравнить два снимка, подписанные: «мужской половой член» и «огурец „мичуринский“» (они изображали именно то, что обещали подписи).

Предлагалось найти максимальное число различий между изображениями, начисляя себе пять очков за каждое. На обороте страницы был комментарий: *«ваше левое полушарие работает нормально, если в сумме у вас получилось пять очков, так как отличие только одно – справа хуй, слева огурец».*

Тест для правого полушария основывался на двух фотографиях, изображавших бутылку софтверинка и газету с голой бабой на обложке. Снимки были подписаны: *«бутылка пепси-колы и „альтернативный контркультурный англоязычный революционно-антизападный таблоид „eXile»^[51], издающийся в Москве группой американских нонконформистов“».*

Надо было повторить опыт. *«Если в сумме у вас вышел ноль очков, – поясняла надпись на обороте страницы, – ваше правое полушарие тоже работает нормально, и вы способны к опознанию, которое не поддается словесной идентификации».*

На этом тест не кончался. Следом предлагалось провести опыт по определению способности полушарий к взаимному замещению. Надо было разделить зрительное поле надвое, взяв лист плотной бумаги и поставив его перпендикулярно странице, так, чтобы правый глаз видел только правый снимок, а левый глаз – только левый. Посмотрев таким образом на фотографии десять секунд, надо было повернуть журнал на сто восемьдесят градусов и повторить опыт так, чтобы правый глаз видел только левый снимок, а левый глаз – только правый.

Сначала надо было проэкспериментировать с первой парой фотографий. Если испытуемому приходила в голову мысль: *«огурец можно иногда использовать вместо хуя, но хуй никогда нельзя использовать вместо огурца»*, считалось, что его правое и левое полушарие способны полностью замешать друг друга.

Тест на взаимодействие полушарий заключался в том, что предлагалось повторить тот же опыт со второй парой снимков. Правое и левое полушарие тестируемого взаимодействовали между собой нормально, если в голову ему приходила мысль: *«альтернативный контркультурный англоязычный революционно-антизападный таблоид „eXile“ издается в Москве на деньги ЦРУ».*

Пока Степа возился с тестом, роняя журнал на пол и шелестя на всю аудиторию вырванной из оранжевого альманаха страницей (в нем была самая плотная бумага), на него косились все присутствующие, а одна важная дама, похожая на снежную королеву в отставке, даже несколько

раз кашлянула в кулак. Степа не сдавался, решив пройти испытание до конца.

Тест дал интересные результаты. Как оказалось, и правое, и левое полушария Степиного мозга не выполняли своих функций. Зато они были способны замещать друг друга примерно на пятьдесят процентов. А взаимодействовали между собой они просто отлично, хотя до этого Степа ничего не знал про газету «eXile».

Отзывы прошедших тест показали, что Степе не следует расстраиваться из-за таких результатов. Полушария других людей взаимодействовали между собой куда более странными способами:

«Дело не в позорном листке „Хуйло молоХа“ (a.k.a. „eXile“), который все годы реформ объяснял заезжим педофилантропам, как надругаться над голодным русским тинейджером, угостив she or he эстонским „порошком горячих парней“. Дело в нынешней российской власти, которая давно проделывает то же самое со всем русским народом. Только вместо шприца у нее Останкинская телебашня. Малюта, PR-технолог и русский интеллигент».

«Господа, не возьму в толк, для чего обижать издателей-нонконформистов. Неужели вам не видно, что они искренне хотят создать что-то непохожее на пепси-колу в лаборатории своего коллективного разума? Если в их ретортах раз за разом получается кока-кола, это не злой умысел с их стороны, а настоящая трагедия духа, ницшеанский сумрак, глумиться над которым так же позорно, как смеяться над катастрофами шаттлов. Татьяна Абакус, студентка филфака».

«Словосочетание „огурец «Мичуринский»“ искрится двойными, даже тройными аллюзиями. Но когда рядом появляется бутылка пепси-колы, это, друзья, уже символическая тавтология. Переборчик-с. Таризэл, Бирюлево-Товарная».

«Деньги ЦРУ? А что же делать, если больше ни у кого их нет? ЦРУ не Талибан. Свои люди. Семенов, пограничник».

В надежде, что со второго раза полушария все-таки начнут выполнять свои функции, Степа снова вооружился страницей, по которой полз куда-то на черных лапках букв мелкий литературный недотыкомзер. Но повторить эксперимент не удалось.

Степа почувствовал, что в аудитории происходит что-то не то. Стало тихо – Мюс больше не бубнила свою абракадабру про конструкты, парадигмы и дискурсы. Подняв глаза, он увидел, что она стоит возле кафедры и молча смотрит на него. И все остальные, кто был в аудитории, тоже глядели на Степу. Он отложил свои бумажные инструменты и принял задумчивый вид, чтобы показать присутствующим, что ему глубоко интересен происходящий пир духа, и отвлекся он только на секунду. Но это не помогло. Мюс подхватила папку с текстом доклада, прошла через аудиторию, сняла куртку с крючка и вышла прочь.

Присутствующие начали бичевать Степу взглядами, но ему было не до них. Схватив пальто, он побежал вслед за Мюс. Когда он выскочил из аудитории, она была уже в самом конце коридора. Добравшись до поворота, Степа увидел, что Мюс исчезла.

Лежавший перед ним коридор напоминал мемориал советской науки – космические мозаики на стенах постепенно растворялись в густеющем мраке, а кончалось все черной дырой. Там, видимо, была лестничная клетка, где свет вообще не горел. Ответвлений у коридора не было. Мюс не могла так быстро добраться до лестницы, даже если бы бежала со всех ног. Это значило только одно – она была в какой-то из аудиторий.

Он медленно пошел по коридору. Через несколько шагов он понял, в какой комнате прячется Мюс. Помогла в этом не открытая дверь – вокруг были и другие. Просто это стало ясно, и все, словно он поймал сигнал, который она послала ему своей антенной. Он вошел в аудиторию и прикрыл за собой дверь.

Мюс сидела у окна в бледном свете уличного фонаря и беззвучно плакала. Он подошел к ней и сел рядом. Она никак не отреагировала на его появление.

– Эй, – сказал он тихо, – ну зачем же так.

– Я думала, что тебе интересна эта тема, – ответила Мюс. – Я очень старалась. Вчера весь день репетировала. И вовсе не для них. Ты же сам постоянно об этом расспрашивал... Если бы я знала, я никогда, никогда не взяла бы тебя с собой.

Он неловко обнял ее за плечи. Мюс дернулась, как от удара током, но не отстранилась. Они оба поняли, что сейчас произойдет.

– Ты совсем не слушал, – сказала она жалобно. – А у меня здесь много нового материала... Другой парадигматический анекдот про рояль в форме кобуры... Не надо... И его кросс-культурный анализ... Я же говорю, не надо... No always means no, you Russian swine!^[6]... Пусти... Пусти же... Ах, Пикачу...

Мюс оказалась совсем не такой, как гламурные шлюшки. Она не воспринимала Степу в качестве клиента, которого следовало профессионально обслужить, начиная протяжно стонать после третьей фрикции. Она была настолько требовательна, что это сперва шокировало его, а потом наполнило забытым энтузиазмом. То, что к нему относятся как к источнику наслаждения, а не денег, настолько польстило его мужскому самолюбию, что он решился подвергнуть Мюс обычному тесту с неохотой, боясь неблагоприятного результата. Он даже специально облегчил его условия.

Степа повез Мюс на Бали. Это было уже после взрыва, отели пустовали, и вместо обычных шести номеров в списке было целых тридцать четыре. Но Мюс, услышав просьбу выбрать номер, даже не посмотрела в лист.

– Is number sixty six vacant?^[7] – спросила она.

Степа наострил уши. Он, разумеется, был не так прост, чтобы спросить Мюс о роли числа «66» в ее жизни. Если бы кто-нибудь заговорил с ним о числах «34» или «43», Степа в ответ недоуменно пожал бы плечами или покрутил пальцем у виска. Было понятно, что и Мюс не станет распространяться о тайной бухгалтерии своей души. Но Степа запомнил это число, попутно позавидовав такому мудрому выбору. Мюс могла вообще не иметь ахиллесовой пяты – такой, как его «43». Это означало бы невозможное – свет без тени, добро без зла, радость без печали. Но Степа догадывался, что в такой ситуации могут быть свои сложности.

Первым делом он попытался выяснить все возможное о числе «66». Пошарив по интернету, он узнал, что в Библии 66 книг, в мире есть 66 видов зубастых китов, самый большой метеорит на Земле, найденный в Намибии, весит 66 тонн, и 66 процентов австралийских аборигенов живут в городах. Подобная информация расширяла кругозор, но имела мало практической ценности.

Тогда он начал экспериментировать, подстраивая Мюс мелкие ловушки. В ресторанах она предпочитала блюда, отмеченные двумя шестерками, – одна могла быть в номере, другая в цене. В длинном меню она нередко выбирала номер «66», даже если это были какие-нибудь жареные тараканы с гарниром из одуванчиков или другая неудобоваримая экзотика. Но она никогда не

говорила «принесите шестьдесят шестой номер», а всегда произносила название блюда. Это доказывало, что Мюс скрывает. В номере ее мобильного было четыре шестерки; в номере ее «Гольфа» их было две. Однако три шестерки, похоже, казались ей дурным знаком.

Число «66» ничем не успело зарекомендовать себя в глазах Степы. Оно состояло в визуальном родстве с нулем, что делало его не до конца понятным. Кроме того, «66» приходилось родственником другому известному числу, «666». Иного это напугало бы, но Степа гораздо сильнее опасался числа «661», которое делилось на «43» без остатка.

Две шестерки упоминались Бингой, когда она говорила о числе зверя на руке его лунного брата. Но в нем было три цифры, он помнил это точно. В конце концов он одобрил число «66» – правда, с некоторым скрипом, но этот скрип означал, что проверка была серьезной и опасаться нечего.

На ощупь приближаясь к тайному нерву возлюбленной, он наткнулся на болевую точку случайно. Это произошло, когда он подарил ей изумрудные сережки с узором, похожим на знак рака. Степа купил их из-за дивных камней, вставленных в голову каждому из зодиакальных головастиков. Мюс, выражавшая в таких случаях свою радость довольно шумно, побледнела, как только открыла коробочку.

– Что такое? – спросил Степа.

– Так, – ответила она, – закружилась голова.

Человек с другими жизненными ориентирами мог бы предположить, что дело в неверно выбранном знаке зодиака, но у Степы что-то щелкнуло в мозгу, и он понял, что Мюс боится числа «69»: знак рака выглядел в точности как его зеркальное отражение.

Через пару недель он пригласил Мюс на встречу с индийским духовным учителем Свами Маканандой, гостившим в Москве. Не то чтобы к махатме были какие-то вопросы, просто к нему ломился весь город, а Степа мог купить место в очереди.

Встреча произошла в номере «Мариота». Свами Макананда был похож на пожилой просветленный баклажан. Поджав босые ноги, он сидел на диване и, пока Мюс мрачно листала дамские журналы, объяснял почтительному Степе систему упражнений, целью которых было полное раскрытие Аджня-чакры, психического центра, расположенного между бровей. Услышав, что у этого центра имеется девяносто шесть лепестков, Мюс нахмурилась и уронила журнал на прозрачный столик.

На обратном пути он решился спросить Мюс, отчего она проявляла такие явные признаки раздражения во время беседы. Мюс нахмурилась.

– Ну Степ, – сказала она, – ты сам подумай, что он говорит. Если раскрыть эту чакру, то можно, во-первых, оставаться вечно молодым, а во-вторых, мумифицировать свое тело после смерти, чтобы оно могло храниться тысячу лет. Я не пойму – если ты можешь оставаться вечно молодым, зачем тебе мумифицировать свое тело после смерти? И потом, что это за имя – Макананда? Или эти журналы на столике – как в парикмахерской. Какой-то макдональдс духа. You know, I hate spiritual fast food^[8].

Теперь Степа знал, что Мюс боится не только числа «69», но и числа «96». Кажущаяся защищенность от темной стороны чисел обернулась удвоенной уязвимостью.

Что касалось перевернутого «66» – числа «99» – то к нему Мюс, похоже, была равнодушна. Степа проверил это во время благотворительной акции по уходу от налогов под названием «99 детей Нечерноземья», которую Мюс помогла организовать. Ни позитивной, ни негативной реакции он не засек. Это радовало. Будь у Мюс проблема с числом «99», витрина любого магазина, где идет распродажа, ввергала бы ее в депрессию. Шагать по жизни рядом с таким уязвимым человеком означало бы сделаться уязвимым самому.

Мюс была удивительно многомерным существом. Помимо коробок с собранием городского

фольклора на перфорированных карточках, она украсила Степину дачу множеством картинок с покемонами, симпатичными магическими зверьками.

Степа давно привык, что его называют «Пикачу» из-за необыкновенного внешнего сходства с одним из них. Но он не знал, что слово «покемон» происходит от «rocket monstaa», японской транскрипции английского «карманный монстр». Его расстроила такая издевательская игра слов («карманный банк» – «карманный монстр»), но на приколы судьбы обижаться было глупо.

Страсть к покемонам у Мюс была нешуточной. Но она лежала очень близко к ядру ее identity и раскрывалась только при интимном знакомстве. Это делало Мюс невероятно сексапильной, добавляя в волшебный коктейль ее свойств что-то от запретной прелести нимфеток.

– Запомни, – говорил Степа, сжимая ее в руках и думая о том, что выражение *feline grace* нельзя перевести на русский, поскольку «кошачья грация» заставляет задуматься о седенькой покровительнице пятнадцати кошек, а вовсе не о хищной кошачьей красоте, – запомни, пожалуйста, Мюс. Я не покемон. Я покебан. И никогда не путай. Понятно?

– Пикачу, – шептала Мюс и проводила острыми коготками по его груди, – Пикачу... Мюс знала, что когда-нибудь тебя встретит...

Несмотря на очарование игры, желание Мюс видеть в нем Пикачу порой бывало обременительным. По ее упорной мысли, он должен был больше всего на свете любить жареные орешки, и ему иногда приходилось съесть целый пакет фисташек перед тем, как Мюс подпускала его на расстояние вытянутой руки (если она не хотела, она начинала так больно царапаться, что Степа неизменно отступал). Степа же не особо любил орехи, которые были ему вредны из-за полноты. К счастью, Мюс допускала альтернативный вариант – ягоды. Вместо пакета фисташек можно было откупиться половиной упаковки клюквы «Ocean Spray», и, хоть она была очень кислой, процедура заворачивала, потому что Мюс разрешала есть ягоды прямо из теплых ложбинок своего тела:

– My hungry little beast... No, you can't do that! You shameless little pig!^[9]

Кроме того, Мюс требовала, чтобы любая кровать, на которой они спят, была привязана проволокой к батарее, и его «excessive electricity» уходило в землю. Степа не понимал, что это за «избыточное электричество», но предполагал, что оно как-то связано с ролью, которую Мюс заставляла его играть.

Лень мешала ему выяснить, каким должен быть образцовый Пикачу. Он совершенно не интересовался покемонами, посмеивался над происходящим и считал его невинным рецидивом младенчества, чем-то вроде привычки играть в куклы, которая сохраняется даже у некоторых мам, пока Мюс не объяснила, насколько все глубже. Объяснение последовало за одной из нотаций, которые Мюс любила читать ему в кровати, пока они набирались сил для следующей прогулки в рай. Началось все со спора о группе «Тату».

– Запомни, свинка, – сказала Мюс, – чтобы ты никогда больше не смел так выражаться! I was born in a gay and lesbian family^[10], это как у вас раньше было рабоче-крестьянское происхождение, и если ты еще раз скажешь при мне слово «ковырялки», я уйду от тебя навсегда... Понял?

Степа испуганно кивнул – он уже жалел, что необдуманные слова сорвались у него с губ.

– Вы вообще не понимаете, что такое терпимость к чужому образу жизни. Тем более что такое *moral tolerance*. Погляди на эту демонстрацию, – Мюс кивнула на телевизор, передававший новости ВВС, в которых мелькнул поп-дуэт. – Наше общество стремится обеспечить потребителю не только дешевый бензин, но и моральное удовлетворение от протеста против метода, которым он добывается. В эфире постоянно идут раскаленные теледебаты, где происходит срывание масок с разных всем известных фарисеев, и так каждую войну. И все

спокойно живут рядом. А у вас все стараются перегрызть друг другу глотку. И при этом ни теледебатов, ни протеста, так, дождик за окном. Потому что общество недоразвитое, understand?^[11] Просто какое-то убожество. Вот почему вы не выражаете протест против Чечни?

Степа вспомнил Мюсу с Исой.

«Ну да, – подумал он, – попробуй вырази, когда один на кокаине, а другой на героине. Такие качели будут, что мало не покажется. Если б не джедаи, так и банка, наверно, уже не было бы».

– Почему? – повторила Мюс. – Ведь самым потом будет интереснее телевизор смотреть!

– Так, – мрачно ответил Степа. – Свиньи потому что.

– Вот именно. А еще говорите про какую-то духовность. Это еще ладно. Вы, русские, при этом постоянно твердите про бездуховность Запада. Про его оголтелый материализм, and so on. Но это просто от примитивного убожества вашей внутренней жизни. Точно так же какой-нибудь Afro-African из экваториальных джунглей мог бы решить, что Ватикан совершенно бездуховное место, потому что там никто не мажет себе лоб кровью белого петуха.

– Я никогда ничего не говорил про бездуховность Запада, – попробовал Степа уклониться от коллективной русской вины. Но Мюс не обратила на его слова внимания.

– Вас только что выпустили из темной вонючей казармы, и вы ослепли, как кроты на солнце. You totally miss the point^[12]. Секрет капиталистической одухотворенности заключен в искусстве потреблять образ себя.

– Че-чего? – спросил Степа.

– Ты, наверно, думаешь, что я покемон, потому что я – инфантильная дурочка, которая никак не может забыть свое детство? Don't even hope...^[13]

Чем сильнее Мюс возбуждалась, тем больше она начинала употреблять английских слов.

– Все наоборот. Инфантильный дурачок – это ты. За исключением тех редких минут, когда я помогаю тебе побыть Пикачу, ты просто дикарь и nonentity^[14], understand, нет?

– Нет, – сказал Степа. – Можно яснее?

– В цивилизованном мире человек должен поддерживать общество, в котором живет. Интенсивность потребления сегодня есть главная мера служения социуму, а значит, и ближнему. Это показатель... Как это по-русски... social engagement^[15]. Но в постиндустриальную эпоху главным становится не потребление материальных предметов, а потребление образов, поскольку образы обладают гораздо большей капиталоемкостью. Поэтому мы на Западе берем на себя негласное обязательство потреблять образы себя, свои consumer identities, которые общество разрабатывает через специальные институты. Понимаешь?

– Нет, – честно признался Степа.

Мюс несколько секунд щелкала пальцами, подыскивая слова.

– Вспомни свой накрученный и навороченный «Геландеваген», – нашлась она.

– Какой «Геландеваген»? Я что, полковник ГАИ? – обиделся Степа. – У меня спецбрабус, пора бы привыкнуть.

– Ага! Вот видишь? Ты ведь потребляешь не его. Ты потребляешь образ себя, едущего на нем...

Только тут Степа понял, что она хотела сказать. Она была права. Как всегда, он чувствовал что-то подобное, но не мог облечь в слова.

– Но это, извини, уровень spiritual mediocrity, – продолжала Мюс. – Это потребление образов, связанных с материальными предметами. Если вы, русские, хотите когда-нибудь по-настоящему влиться в великую западную цивилизацию, вы должны пойти гораздо дальше. Ты спросишь, как это сделать? Посмотри на меня. Посмотри на мир вокруг. Послушай, что он тебе

шепчет... Я – покемон Мюс. Только что с тобой говорил по телефону твой друг Лебедин – он джедай. А из телевизора нам улыбается Тони Блэр – он премьер-министр. В эту секунду в мире нет ни одной щели, ни одного изъяна. Но ты? Могу я верить тебе до конца? Настоящий ли ты Пикачу? Или это просто маска, муляж, за которым пустота и древний русский хаос? Кто ты на самом деле?

В Степе дрогнул ответ. Но, досчитав до тридцати четырех, он решил на всякий случай промолчать. Вместо этого он приподнялся на локте и потянул на себя одеяло, под которым пряталась его подруга.

Степа был счастлив с Мюс. Как только ее фольклорный грант кончился, он взял ее на ставку, придумав для нее должность «первый референт с правом финансовой подписи». Это, как заметил бы покемон-аналитик, было весьма прозрачным символом: Пикачу давал подержаться за свой большой толстый «Mont-Blanc» и даже доверял выпустить из него струйку жидкости.

Оказалось, что знакомство с современным городским фольклором – лучшая школа бизнеса. Мюс хорошо понимала, что требуется от бизнесмена в России – быть немного вором, немного юристом и немного светским человеком. У нее была прекрасная деловая хватка, и ей можно было доверить любую работу.

Банк работал как часы. На память о чеченской крыше остался только подарок Мусы – сделанная из крупнокалиберного патрона настольная зажигалка с выгравированной сурой из Корана. Все в Степиной жизни, казалось, было устроено для счастья.

Кроме одного.

Ему исполнилось сорок два года. А следом, как подсказывала логика, должно было исполниться сорок три.

Чем ближе становилась страшная дата, тем чаще Степа вспоминал слова Бинги, пытаюсь найти в них смысл, пропущенный прежде. Постепенно в его уме созрел план, который, как казалось, способен был решить его проблемы. План был лукавым и казуистическим. Но мог и сработать.

Бинга ничего не говорила ни про «43», ни про «34». Она говорила только про лунное и солнечное числа. И ужас, который она напороочила, должен был начаться тогда, когда Степе исполнится лунное число лет.

Болгарская ясновидящая сказала:

«Солнечное число может быть любым. И лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом».

В чем дело, она не объяснила. Но это, предполагал Степа, могли быть сила воли, решимость, бесстрашие – или что-нибудь вроде того. А если, думал он, проявить эти качества, и на год подменить числа силы другой парой, лишив «43» лунного статуса, а значит, и возможности вредить? А потом тихо вернуться в лоно старой веры... Эта мысль была заманчива до головокружения.

И Степа решился. Дождавшись момента, когда в делах наступило затишье и никаких серьезных операций не предвиделось, он совершил простой ритуал, который, однако, заставил его сердце биться так, как если бы это была черная месса. Записав числа от одного до девяносто девяти на кусочках бумаги, он кинул их в пустую сахарницу. Повернув лицо к люстре, он умоляюще сказал:

– На время, только на время, клянусь!

Вселенная промолчала, и Степа вытянул жребий. Выпало «29». Лунным числом,

соответственно, оказалось «92». В новом числе семерка тоже присутствовала – как разность входящих в него цифр. Степа перевел дух. Похоже, это был знак.

Он начал жить по-новому. Внешне все оставалось прежним, но выстроенные вокруг числа «34» ритуалы и священнодействия, из которых складывалась его жизнь, уступили место новым, обращенным к числу «29». Первые несколько дней, прожитых по новым правилам, были наполнены ужасом, смешанным с эйфорией, – словно в Степину душу мелкими дозами поступало то чувство, с которым самоубийца-оптимист шагает из окна в лучший мир.

Все вокруг было непредсказуемым и новым. Выходя в зимний сад пить кофе, он подозрительно оглядывался по сторонам, словно ожидая удара молнии возмездия. В саду играла тихая музыка – Филип Гласс, любимый Степин композитор. Опера «Эхнатон», посвященная египетскому фараону-реформатору, который сверг старых богов и провозгласил нового, казалась Степе историей про него самого. Тем более что, помимо личного бесстрашия, необходимого для радикальных духовных разворотов, были и культурные параллели: Эхнатон поклонялся солнечному диску, а Степа руководил «Sun-банком».

Катастрофа произошла, когда Степа уже решил, что эксперимент удался. Однажды, доедая за завтраком тост с клубничным джемом (теперь он совершал двадцать девять движений челюстями вместо тридцати четырех, отчего казалось, что пища попадает в желудок недожеванной), Степа протянул к хрустальной розетке вилку, и вдруг увидел, что она означает не «34», как это было всегда, а «43».

– Что случилось? – испуганно спросила сидевшая напротив Мюс.

Трудно было сказать, что именно произошло. Даже не трудно, а невозможно, потому что на самом деле не случилось ничего – у вилки были те же четыре зубца, под которыми начиналась ручка с серебряными завитками в виде морских волн. Но первым, что бросалось в глаза, были зубцы. И только потом внимание перемещалось на три просвета между ними. Было непонятно, как Степа вообще мог когда-то видеть в этом сочетании выступов и пустот число «34». Если бы «43» было вырублено перед ним на дубовых досках стола раскаленным топором, даже тогда оно не было бы таким отчетливым.

Степа понял, что такое небесная кара. Теперь он лучше любого египтолога представлял, какая сила заставила египтян бросить построенную в пустыне столицу вместе с солнечным культом и вернуться к прежним богам, умоляя их о прощении. Этот же древний ужас проглотил его душу, и Степа первый раз в жизни осознал, как ничтожен человек перед лицом невидимых надмирных сил, с которыми он шутит и играет, как идиот с высоковольтными проводами.

Степа чувствовал, что искупить вину будет трудно – но другого пути не было. Он начал с того, что отбил тридцать четыре раза по тридцать четыре поклона. С непривычки на это ушло почти два дня – боль в коленях заставляла делать долгие паузы. Затем в ход пошли другие ритуалы, как бы вернувшие его в детство, – он чувствовал, что чем наивнее и чистосердечнее будут его поступки, тем легче отпустят ему грехи силы, перед которыми он провинился. Он дал клятву, что никогда, никогда больше не изменит числу, выбранному раз и на всю жизнь, что бы ни принес ему надвигающийся день рождения. В его душе происходило что-то похожее на реставрацию опрометчиво скинутой монархии. Слава богу, монарх был еще жив – и после недельного покаяния Степа понял, что прощен.

Но в его душе появилась новая стигма – рядом с ненавистным «43» зажглось другое проклятое число – «29». Против него теперь было два числа, а за него – одно. И винить в этом было некого.

Степа принял экстренные меры. Во-первых, он установил на участке перед своей дачей уменьшенную в два раза копию танка «Т-34», купленную в захиревшем музее боевой славы. Танк выглядел грозно, и Степа рядом с ним чувствовал себя спокойнее. Затем он вспомнил, что

лучшая оборона – это наступление, и перешел в атаку. Несколько дней он расстреливал из охотничьего ружья тарелки, помеченные числами «29» и «43», и хохотал, когда заряд дробы разносил в пыль очередной диск, косо летящий над кромкой леса. Часть его гнева приняли на себя кефирные пакеты, датированные числом «29» – они, бывало, подолгу хранились в холодильнике, безобразно распухали, словно в них действительно вселялся дух зла, и лопались под Степиным свинцом как гнойные бомбы.

Затребовав к себе в кабинет личные дела сотрудников, Степа провел над ними несколько дней и без объяснения причин уволил часть персонала. Ничего общего между уволенными не было – кроме того, что все они были отмечены каким-нибудь из чисел зла: кто-то жил в доме номер 29, кто-то на станции «Сорок третий километр», другие имели родителей 1943 или 1929 года рождения, и так далее. Никто из них не понял, в чем дело.

Постепенно к Степе вернулась уверенность в себе и спокойствие. Он знал, что может выбирать повороты жизненного пути, отмеченные прежним знаком, и все будет хорошо, если он сам не совершит какой-нибудь глупости. Откуда он это знал, сказать было трудно – все опиралось на таинственное мистическое чувство, присутствие которого он стал хорошо ощущать после того, как оно на время покинуло его из-за проклятого эксперимента.

Однако эта история оставила одну рану, исцелиться от которой он не смог. Вилка, которая раньше благословляла каждый отправляемый в рот кусок пищи, стала отравлять его своим невидимым проклятием. Он стал хуже выглядеть, появились проблемы с пищеварением. Иногда начинались беспричинные тошнота и понос – беспричинные, по мнению медиков, сам же Степа причину знал. Слушая доктора, гадающего, где и чем он мог отравиться, Степа чувствовал, что мог бы многое рассказать о том, как действует самый страшный на земле яд – ум.

Мюс видела, что с ее Пикачу творится что-то нехорошее, но не могла понять, в чем дело. По ее настоянию Степа поехал на обследование в Германию. В результате он разуверился в медицинской науке: он понял, что разница между дешевым русским доктором, недоуменно разводящим руками, и дорогим немецким, делающим то же самое, заключается в том, что немецкий доктор может перед этим послать говно пациента в специальной двойной баночке авиапочтой в другой город, а затем получить оттуда сложную диаграмму на пяти страницах с какими-то красно-зелеными индикаторными полосками, цифрами, стрелками и восклицательными знаками. Разница в деньгах уходила на оплату труда людей, занятых в производстве этого глянцевого высокотехнологичного продукта, а само движение докторских рук было одинаковым. К тому же в обоих случаях речь шла о самых лучших докторам, поскольку они недоуменно разводили руками вместо того, чтобы назначить курс каких-нибудь губительных процедур.

Степа нашел выход сам. Возвращаясь в гостиницу после визита к врачу, он зашел в русский ресторанчик «Сакура» на Курфюрстендам (раньше он обедал в экзотическом армянском погребке «Donskoj Kazachok Rebroff» на Вестфалишер Штрассе, а тут захотелось простого московского сашими). Кивнув, как знакомым, трем берлинским браткам, он устроился в уголке для некурящих и сделал заказ. Когда перед ним поставили деревянный эшафотик с расчлененной туной, он немного подумал, отодвинул вилку с ножом, и первый раз в жизни взял в руки палочки.

Оказалось, что это несложно – все получилось с первого раза. За едой он раздумывал о символизме происходящего. Палочки могли означать «11» или римское «II». Это, конечно, не было «34», но это не было и «43». После обеда Степа ощутил беспричинную эйфорию, какой не чувствовал уже давно. Официантка получила на чай сто евро.

Степа съел гостиничный ужин принесенными из ресторана палочками, а ночью ему в первый раз за много лет приснилось, что он куда-то летит невысоко над землей. На следующий

день он поехал в антикварный магазин и купил сразу несколько китайских столовых наборов.

Среди них оказались палочки из слоновой кости, выточенные в начале века в Шанхае. Они становились приятно гибкими, полежав в воде. Их покрывала тонкая раскрашенная резьба: каждую украшало 34 цветка сливы (так, во всяком случае, можно было сосчитать, принимая за скрытые цветки семь лепестков на заднем плане). Палочки хранились в резном футляре из красного дерева, который был настоящим произведением искусства.

Прошло всего несколько дней питания по-новому, и недомогание, поставившее в тупик столько докторов, исчезло само. Мюс была счастлива.

– Я же говорила, you just needed a good doctor^[16]. Глупый смешной Пикачу...

Мюс думала, что все прошло. Она не знала, что после «катастрофы 29» (так Степа называл про себя неудачный эксперимент) ему приходилось вести себя в два раза осмотрительнее. Степа никогда не садился в машину, в номере которой были двойка и девятка рядом. А двадцать девятое число стало для него опасной датой – у Степы было чувство, что мировое зло, бессильное пробить его защитные поля, доходило в это время до пика могущества и делалось способным ужалить. В этот день он не выходил из комнаты, почти ничего не ел и не снимал телефонную трубку.

Сотрудники банка и партнеры по бизнесу, которые научились уважать Степу за его непостижимую интуицию, почувствовали вызванную «катастрофой 29» перемену в его подходе к делам. Степа стал осторожнее, хотя никакой ясной логики в его решениях по-прежнему не прослеживалось. Многие связали это с мировым фондовым кризисом и еще с тем, что у Степы появились новые источники инсайдерской информации. Но люди, которые пытались копировать Степины действия, попадали впросак. Это было неудивительно. Например, покупая и сбрасывая акции, он руководствовался не диаграммами роста и предсказаниями аналитиков, а тем, что в цифровых последовательностях на экране компьютера возникали числа «43», «29» и, конечно, «34» – причем ему было совершенно не важно, до запятой или после. Брокер часто бывал в шоке от его распоряжений. Но тем сильнее уважал Степу, видя их результат.

II

Меняя какую-то одну привычку, человек часто не осознает, что расстается с привычным укладом жизни. Начав есть палочками, Степа почувствовал, что будет смотреться гораздо уместнее, если станет приверженцем азиатской кухни. Это оказалось несложно – она ему, в общем, нравилась. Став адептом темпуры и супа из акульих плавников, Степа понял, что эту трансформацию было бы в самый раз запить хорошим чаем. Он начал пить зеленый чай, с которого перешел сначала на белый, а потом на улун.

Чай приносили из расположенной на территории парка Горького конторы со странным названием «ГКЧП». Этими буквами, стилизованными под китайские иероглифы, был украшен каждый пакетик с «Железной Гуанинь» или «Большим Красным Халатом», его любимыми сортами. Пакетики украшал золотой иероглиф «Путь», и рядом с ним грозный четырехбуквенник воспринимался как конкретизация расплывчатого философского понятия.

Когда Степа спросил, что все это значит, ему объяснили, что сокращение расшифровывается как «Городской клуб чайных перемен». Название было интригующим и подвигало на дальнейшие расспросы. Так состоялось Степино знакомство с гадателем Простиславом, который был в клубе за главного консультанта и духовного учителя.

Внешне Простислав напоминал Кощея Бессмертного, переживающего кризис среднего возраста. Все в нем выдавало осведомителя ФСБ – восемь триграмм на засаленной шапочке, нефритовый дракон на впалой груди, расшитые фениксами штаны из синего шелка и три шара из

дымчатого хрустала, которые он с удивительной ловкостью крутил на ладони таким образом, что они катались по кругу, совсем не касаясь друг друга. Когда он взял в руки гитару и, отводя глаза, запел казацкую песню «Ой не вечер», Степа укрепился в своем подозрении. А когда Простислав предложил принять ЛСД, отпали последние сомнения.

Уверенность была полной и до такой степени иррациональной, что Степа долго не мог понять, откуда она. Ответ появился, когда Степа позвонил Простиславу сразу после разговора с Лебедкиным. Простислав смеялся совсем как Лебедкин, только останавливался за секунду до момента, когда в смехе капитана прорезалось что-то ледяное и жуткое, – так, что на это слышался только намек. Тем не менее сходство было настолько явным, что Степа с самого начала смотрел на Простислава умудренными жизнью глазами.

Степа никогда не боялся людей этой ориентации, потому что не имел порочных привычек, на которых они могли бы сыграть. Наоборот, он старался чаще бывать в их обществе, чтобы власть как можно большим количеством глазенок видела, что ему нечего скрывать. Поэтому он продолжал встречаться с Простиславом, и между ними вскоре установилось что-то вроде дружбы, которая очень шла к Степиной привычке есть палочками.

У Простислава была самая большая в Москве коллекция буддийского порно, «стрэйт» и «гей». Оно отличалось от стандартного тем, что все действие происходило в горящем доме, который символизировал недолговечную земную юдоль. Метафора трогала Степу, однако в фильмах к ней подходили довольно формально: партнеры елозили друг по другу на фоне пылающего комода или созревшего для свалки дивана, дававшего вместо огня скудный серый дым. А то и вообще все ограничивалось групповухой на фоне коптящей промасленной простыни, растянутой на сушилке для белья. Степе как раз хотелось, чтобы духовности в этих фильмах было больше, а хлюпа меньше, но их создатели, видимо, стремились занять рыночную нишу самым экономным способом.

Имелось у Простислава и более традиционное порно, которое не стыдно было посмотреть утонченному и культурному человеку. Например, стильная экранизация «Ромео и Джульетты», где Джульетта приходила в себя в склепе сразу после того, как Ромео выпивал яд над ее неподвижным телом. У героев оставалось всего сорок минут времени, но уж его-то они использовали по полной, не теряя ни секунды на сентиментальную болтовню. А другой фильм начинался так: камера показывала сидящую на дощатом полу ящерицу, затем долетало девять далеких ударов колокола... На то, что начиналось вслед за этим, глаза смотрели уже совсем иначе.

Простислав познакомил Степу с «Книгой Перемен». Степу не волновали эзотерические глубины этого текста, о которых Простислав постоянно толковал. Интересно было другое. Оказалось, что числам от одного до шестидесяти четырех соответствуют гексаграммы, состоящие из непрерывных мужских и прерывающихся женских линий. Каждая из них описывала ситуацию, в которой может оказаться человек. Услышав это, Степе понадобилось напрячь волю, чтобы сразу не заговорить о главном.

Выжидать случая пришлось долго. Сначала Степа гадал вместе с Простиславом. Нужные номера никак не желали появляться. Скоро Степа научился составлять гексаграммы сам. Способ гадания, в котором использовались стебли тысячелистника, показался ему слишком муторным. В нем было что-то безнадежное, напоминающее о принудительных сельхозработах в Северной Корее – нужно было сидеть на полу и долго-долго сортировать пучок черных высохших стеблей. За это время Степу посещали мысли о голоде, неурожае, тяжести крестьянского труда, об особом пути России, и так далее. Кроме того, начинали сильно болеть ноги.

К счастью, существовал другой способ – его изобрели современники Конфуция и Лао-Цзы, решившие приспособить архаический оракул к убыстряющемуся темпу жизни. В нем

использовались три монеты, которые надо было кидать вместе шесть раз, по числу линий в гексаграмме. Степа стал пользоваться этим методом, и каждый раз после гадания вез полученный результат в ГКЧП. Клуб представлял собой лабиринт закопченных благовониями темных комнаток с такими низкими дверями, что приходилось передвигаться скрючившись, в постоянном полупоклоне то ли комитету госбезопасности, то ли небесным наставникам из даосского пантеона, и эта процедура смиряла и исцеляла разуверившуюся в святынях душу.

Чтобы в ФСБ не догадались, на чем держится его тайный мир, Степа не стал выспрашивать у Простислава, какие гексаграммы имеют номера «29», «34» и «43», и честно гадал по любому поводу, дожидаясь дня, когда числа сами выйдут ему навстречу, чтобы открыть свои древние лица.

Сначала «Книга Перемен» пожелала разъяснить Степе число «29». Когда он принес очередную гексаграмму в ГКЧП, Простислав покачал головой и надолго замолчал.

– Дело-то серьезное? – спросил он наконец.

– А что? – переспросил Степа.

– Да то, – скрипуче ответил Простислав, – что хуже еного самого только она же сама, родимая, и есть. Номер двадцать девять – «Повторная опасность».

С трудом выцеживая смысл из его слов, Степа выяснил следующее: номер «29» был символом удвоенной опасности – пропастью внутри пропасти. Смысл этой ситуации отлично выражала поговорка «Лиха беда – начало». Внутри одной проблемы была скрыта другая, за ужасом таился ужас, и, кроме скудного тюремного рациона, ожидать было нечего. Гексаграмма была симметричной и изображала как бы два клыка в зияющей пасти – они были обозначены двумя сильными линиями среди четырех слабых. Увернуться было невозможно, и оставалось только ждать, питаясь слабой надеждой, что судьба подбросит веревку, по которой удастся выбраться из бездны. Две слабые черты в центре напоминали поток, текущий между Сциллой и Харибдой, – можно было проскочить, а можно было и не успеть. Словом, если бы кто-нибудь попросил Степу изложить все мрачные ассоциации, которые после известного опыта вызывало у него число «29», вышло бы очень похоже.

Гексаграмма за номером «43», которая появилась через несколько дней после этого, называлась «Прорыв». Простислав охарактеризовал ее коротко:

– Фильтруйте базарчик!

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)